

**1'1991**

**Твердый  
знак**



# Твердый знакЪ

1 /1/

1991

**Литературно-гуманитарный журнал  
“Твердый знак”,  
№1 (1) 1991**

**Журнал зарегистрирован в Госкомпечати СССР  
за №1243 от 17.12.1990 года.**

Подписано в печать 10.01.1991. Формат 70x108 1/32.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 11,13. Тираж 10000 Цена 5руб.

**МП Информполиграф. Зак. 264**

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Гуру "АТТРАКЦИОНЫ" /повесть/		
главы	1-3.....	17
	4-6.....	41
	7-8.....	69

### ПОЭЗИЯ

Андрей Полонский "Понт" /цикл стихотворений/ .....	5
Владимир Шиленский.....	36
Сергей Ташевский .....	63
Максим Шевченко.....	96
Аркадий Славоросов.....	145

*это может Гуру  
1-ое стихотворение - КЛЕВЫ*

### ГУМАНИТАРНЫЙ ОТДЕЛ

ВСТУПЛЕНИЕ .....	99
Алексей Кадацкий "Воскресение чаемое или восхищаемое?".....	101

### ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Станислав Никольский "Мир и мышление, или голос упорствующего иррационалиста" .....	114
РАРИТЕТЫ "ТВЕРДОГО ЗНАКА"	
Вступление.....	117
Лешек Колаковский "Жрец и шут. Размышления о теологическом наследии современного сознания" .....	117

### ФИЛОСОФИЯ КОНТР-КУЛЬТУРЫ, или АНТОЛОГИЯ ЗАПАДНОЙ РОК-ПОЭЗИИ

Вступление.....	128
-----------------	-----

Йоко Оно "ВРЕМЯ СТЕКЛА" /перевод Джулии Брайсхет/.....	129
---	-----

### ХРОНИКА

Максим Шевченко "О социальном напряжении масс" .....	140
Саша Попов "Театрик для сумасшедших" .....	149
Василий Розанов, из "УЕДИНЕННОГО" .....	159









# Андрей ПОЛОНСКИЙ

## П О Н Т

20 стихотворений

1. Калики перехожие,  
куда путь держите?

К Понту, батюшка, к Понту,  
к морю, стало быть, к морю.

Калики перехожие,  
куда путь держите?

К Понту, батюшка, к Понту,  
в гавань, стало быть, в гавань.

Калики перехожие,  
куда путь держите?

К Понту, батюшка, к Понту,  
к Солнцу, стало быть, к Солнцу.

Пассажиры рейса 587 Оливия-Танаис,  
пройдите на посадку к 28 секции левого блока  
Время вылета - 18 часов 15 минут.  
Гражданин Агамемнон, Ваша жена  
ожидает Вас у справочного бюро  
на первом этаже аэровокзала...

Калики перехожие,  
куда путь держите?

К Понту, батюшка, к Понту,  
к смерти, стало быть, к смерти...

2. Предчувствуя катастрофу  
каркать на перекур  
Кофту тебе или кофе?  
Чур меня, чур!

Продают прошлогодний картофель,  
очередь - на версту  
Коку тебе или опий?  
Ату нас! Ату!  
Это ли не безобразие -

по рельсам едет трамвай  
Европу тебе или Азию?  
Давай! Давай!

3. Там, где нет меня - я есть,  
там, где ест меня - я нет  
Метких стрел не найдешь,  
слева лошадь, справа ложь.

Бочка меда в ложке дегтя  
миром правит чувство локтя  
Там, где был кабак - там гавань,  
там, где гавань - можно плавать  
в вине

проще мудрого убить,  
чем закон заучивать  
может быть, может быть  
все на свете к лучшему

Париж.  
Год 68-ой.  
Ишь, повеселились.  
Пора домой!

#### 4. "КУПЛЕТЫ"

Коленки хороши  
уткнешься головой  
Давай, дружок, чеши,  
пока еще живой

Колонны все мрачней,  
за правду мы горой  
Я буду жить на дне,  
ты сохнешь, как герой

Мы все желаем в лоб,  
ну что же - лечь так лечь!  
коль невозможно в гроб,  
тогда хотя бы в печь

Меж тем, кто создает  
и тем, кто разрушает,  
есть та, что всем дает  
и споры разрешает.

## 5. "Я КИНУЛ АПТЕКУ"

Каркает ворон  
обзывает вором  
наплевать на город -  
мне ништяк

Голова болела  
жаловалось тело  
ломило, зудело -  
все прошло

На гитарах бренчат  
я уеду в Чад  
заведу там чадят  
черномазых

Там воюет Хабре  
там дожди в октябре  
по такой-то жаре  
ливень - в кайф.

## 6. МОНОЛОГ БЕЗУМЦА

- как отвратительны эти дома  
эти улицы,  
которые смотрят себе под ноги  
ты увидела меня,  
старуха Тьма,  
разглядела, что я выбрался  
из своей берлоги  
О!  
каждый прохожий  
норовит пройти мимо  
был бы у меня нож -  
я б всадил ему в спину нож

ишь,  
столичные пилигримы,  
куда они спешат  
поначалу не разберешь  
А!

а спешат они в ГУМы и универсамы  
запастись уютом три рубля килограмм  
ой, мама, мама,  
я тоже товар, меня надо поставить в универсам  
О!

это кто такой умный  
в очках, с иностранной трубкой  
сейчас как врежу -  
посмотрим, выдержит ли улыбка  
я впитываю этот город, как губка  
человек - ошибка эволюции  
значит я тоже ошибка?  
А!

Черт побери, сколько их,  
разжиревших и красноглазых  
таких добрых  
"мальчик, ты хромаешь, у тебя не болит ли нога"  
всех бы их сразу  
вот уж собственная шкура  
мне трижды не дорога  
О!

перезаразить бы их СПИДом,  
но все они берегутся  
бережливы и осторожны  
впрочем  
в нашей стране счастливой  
и СПИДа найти невозможно  
А!

Перейти бы на корм подножный!  
Дайте мне два рубля -  
доехать до Ленинграда,  
девушка, у вас не найдется  
полтинничка похмелиться  
нет, такой щедрости  
мне не надо  
какие мерзкие лица!  
О!

старуха Тьма



возьми меня, старуха Тьма  
здесь вырастают  
ядовитые грибы на лохмотьях,  
когда распределяют корма -  
пять кило тем, кто за,  
девять грамм тем, кто...  
**ВРЕТЕ!**  
**МЕНЯ НА ПОНТ НЕ ВОЗЬМЕТЕ!**  
**Я ПРОТИВ!**  
**ПРОТИВ!**  
**ПРОТИВ!**  
**ПРОТИВ!**

## 7. ЗУД НА КУМАРЕ

Каверзы разверзлись  
раскатали сеть  
мерзнешь, хоть и дерзок  
что ж, задире - плеть!

Здесьние заботы,  
замани их в зад,  
зона после КЗОТа -  
комары зудят.

Отгулял, комарик,  
смерть твоя яс-сна,  
лучше б не пил, арид,  
красного вина.

Крылышко повисло,  
обманула снесь,  
не хватает смысла  
за море лететь.

## 8. ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ

Спускаясь в долину, мы видим сады -  
блаженная почва;  
здесь символ - ограда, покой за труды,

предвечный, бессрочный.  
Здесь гной шел из ран, изнуренная плоть  
от гнуса гудела,  
когда на вершине ты ждал, что Господь  
возьмет твое тело.  
Спускаясь в долину, мы видим сады,  
но только не звезды,  
дорога здесь мягче - оставишь следы  
и будешь опознан  
Здесь властвует страсть - пир заломанных рук,  
забвение меры...  
Отчетливей запах.  
Все дышит вокруг  
лавандой и серой  
лавандой и серой  
лавандой и серой  
Спускаясь в долину, мы видим сады...

## 9. ДЕВЯТИКЛАССНИК

птицы устают лаять  
карликовые пинчеры устают лететь  
над городом закат догорает  
повеситься, какая надежная твердь

мой старший брат припадает к истокам,  
ему нравится бытие,  
он припадал уже к стольким,  
е-мое

мой дядя разглядывает витрины  
и все рассказывает, что где не так,  
он обошел почти все магазины -  
дядя любит коньяк

я люблю школу,  
правда в школе любят меня не всегда  
лучшее место для укола -  
падающая звезда

когда карликовые пинчеры устают лететь  
птицы перестают лаять

и эта слишком надежная твердь  
поддыхает

## 10. БАЛЛАДА ОБ ЭПОХЕ

Я мечтал когда-то,  
чтобы на мостовой росли цветы,  
не умирали солдаты,  
не торжествовали скоты  
/и скотобойни, между прочим, тоже сошли бы на нет в  
том мире, которого нет/

Все обернулось иначе:  
невеста плачет  
хлеб горчит  
последние волосы стыдливо прячут  
исхудавшие бородачи  
/надо заработать на жилье и харчи/

Многие попривыкли,  
что человек одинок,  
и не испытывают free love рытвинами  
отечественных дорог

В районной гостинице заварить чай,  
бросить пакетик в крутой кипяток  
- ты не обламывайся - ангел над ухом кричал -  
это Иркутская область, это еще не восток

А избранные счастливицы дуют в дуду  
на картонных улицах Катманду.

11. Европа трусит каждой рати  
Любой шугающий - невротик  
Последний шанс уже украден  
Смерть скалится на повороте

Грейпфрут горчит, но каплет соком  
Любовь торчит, но дышит ядом  
Нам слишком далеко к пророкам  
И не положено к на градам.

Асфальт в жару желаньем пышет,  
В нем кеды по завязку вязнут  
Легко как птица взмыть над крышей,  
Но ангел соль насыпет в язвы.

12. Что неизбежно:

смерть, бледная и худая, говорят с косой,  
как крепостная крестьянка, косит рядами  
и ходит босой  
развязка любви, нежная дева, томна и печальна,  
перебирает слова,  
принимает снотворное, курит ночами,  
всегда права

Что необходимо:

работа, чтобы все текло не мимо, а тебе в рот  
существо противоположного мира  
/проще, когда не пьет/

впрочем, если верить во что-то  
данное сверх,  
можно обмануть себя  
и свою смерть.

13. Голова моя отяжелела  
Осень празднует и права  
Никому на свете нет дела  
Как болит у меня голова

Календарик, брюхатый мукой,  
Губит нежный, вальяжный зной,  
Хочет ревностью и разлукой  
Расплеваться октябрь со мной

Ты болей, но не слишком тяжко,  
Наша участь ясней других,  
Или Сербского, или Пряжка,  
Или выдали, или под дых

Эти странствия под циклодомом  
По долинам сухих дождей...

Как чекист, разгулялся холод  
Меж базаров и площадей.

## 14-15. СОНЕТЫ

1.

Мир чересчур похож на поле брани  
Сталь совершенной - уязвимей плоть  
Компьютер точен, но поймет Господь -  
Творенье не спасает от страданий

И невозможно время побороть -  
чем ближе смерть - глупее называнье,  
ведь и любовь и самообладанье  
всего лишь изнуряют нашу плоть.  
Запутались пророки и приметы,  
Не сходятся вопросы и ответы,  
А мы живем. И это очень странно -  
Вдали людей, забытых и воспетых,  
В саду, где вечером, в начале лета  
Костер дымит, как трубка великана.

2.

Мир чересчур похож на поле брани,  
Покорно почва принимает прах,  
На трех холмах, на девяти ветрах  
Стоит обитель - кладбище желаний.  
И там - вдали надежд, воспоминаний,  
Живет, в каких? - кто знает, временах  
Длинноволосый юноша-монах  
В чреде молитв и долгих покаяний.  
Обходит храмы он неторопливо,  
Костер разводит, кажется счастливым,  
И от добра уже не ждет добра...  
Как будто от не видел этих взрывов,  
Далеких взрывов, бесконечных взрывов...  
И стелется по небу дым костра.

16. Покоем все дышит,  
но как же обманчиво это  
Да, буря ударит,  
ударит еще до рассвета  
По домикам, дремлющим  
в чутких объятиях юга,  
По нежным людишкам,  
наощупь твердящим друг друга.  
Завоют собаки:  
влюбленные ищут забыться,  
Качаясь, фонарь  
из полуночи выхватит лица  
И скрипнет постель  
неизменной железною сеткой:  
Старуха тревогу  
запьет иноземной таблеткой.  
Не то, чтоб каштаны  
промокли от ливней, не то чтоб  
От казней набрякла  
пустая базарная площадь,  
Но буря ударит,  
звоня и срывая затворы,  
Ударит полынью:  
отшельник отправится в горы.

17. Листопад. Автостоп.  
Время смотрит вперед.  
Кроме пьяных чертей -  
ни души на дороге.  
Ты не бойся бессмертия.  
Это пройдет.  
Завтра утром  
Мы будем с тобой в Таганроге.

Что за путь на Бердянск?  
Так и воеет тоской  
По берданке лесной  
По свинцовой охоте  
К переменам, к богатству...  
Но бабка с клюкой  
Поджидает  
На ждановском повороте.

Листопад. Автостоп.  
Время смотрит вперед.  
Кроме пьяных чертей -  
Ни души на дороге.  
Ты не бойся бессмертия.  
Это пройдет.  
Никогда  
Мы не будем с тобой в Таганроге.

18. Там, где вдоволь полуразрушенных истин,  
где лианы основ и прерывистый пульс,  
где каждый второй объясняет тебе,  
насколько и от кого ты зависишь -  
там начинается путь.  
Ты, кажется, опять перепутал, парень,  
Зачем только брал в руки брусок,  
этот покос государев,  
хоть травы здесь - самый сок.  
Ах, королевна, не хмурьте очи,  
казнью отвечивает ваш взор,  
не то дело ночью,  
когда затихает двор.  
Спугаешь бредни - попадешь в сети,  
полицейские взяли отгул - чаевые вместо городских,  
я предпочел бы любить тебя на рассвете,  
когда расстреливают мертвых и растравляют живых.  
Цыганочка, бери скорей колоду,  
колодки еще не надели, но сроки-то коротки  
Тот, кто не ищет броду,  
подчиняется воле реки.  
Идти по следам - бежать Великого Дао,  
Великое Дао в том, чтоб не идти никуда,  
но большинству из нас Великое Дао не нужно даром,  
мы держим путь в проклятые прокаженные города.  
На плечах - пепел Содома,  
на устах - соль Вавилона  
Лучше в дороге, чем дома,  
под сенью предвечного лона.

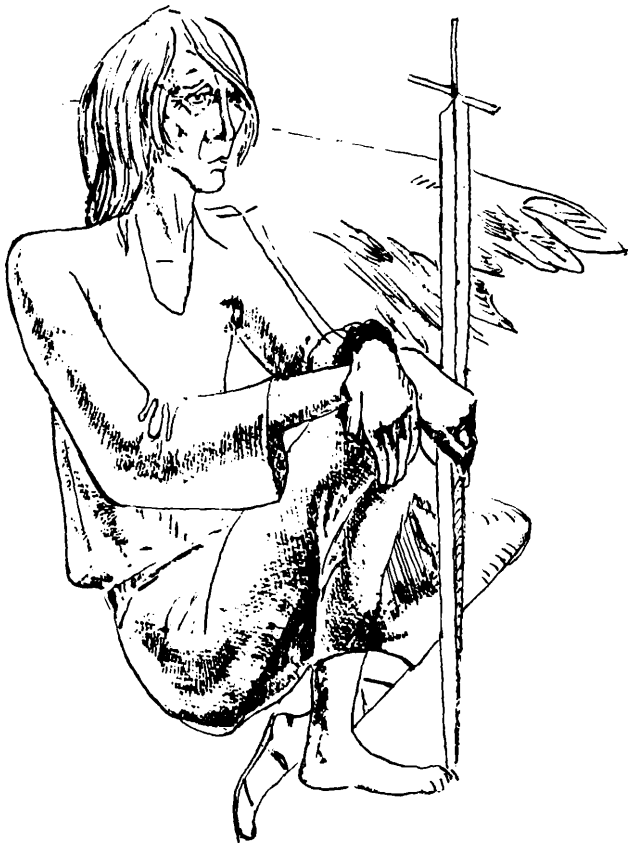


19. Все, что шепчут в постели -  
становится явью не вдруг  
Это тоже заслуга -  
не выпустить радость из рук.

Чем прочнее кольцо,  
тем прельстительней шепот вдогон:  
"Она хочет другого,  
мечтает о ком-то другом".

20. Но ангелы летят  
свой соблюдая чин  
какая грусть во всем  
условий и причин  
неутолимый ряд  
А люди все глядят  
потом заходят в дом  
и зажигают свет  
и начинают петь  
Но ангелы летят  
серебрянным крылом  
коснувшийся сосны  
заплакал серафим  
он пролетает дом  
над домом вьется дым  
готовят люди снедь  
и теплится очаг  
Но ангелы летят  
условий и причин  
неутолимый ряд  
свой соблюдает чин.

лето 1987 года, Челюскинская.  
/цикл Андрея Полонского "ПОНТ"  
печатается в журнальном варианте/





Гуру

## "АТТРАКЦИОНЫ"

Повесть

1

Наступает время превращений. Привычная последовательность ритмов обнаружила вдруг немеющую глубину - так слушаешь китайскую музыку и, когда, наконец, начинаешь чувствовать и понимать ее иноязычную прелесть, испытываешь сладость узнавания красоты и вот-вот начнешь тихонько кивать головой, чуть склонив ее к левому плечу, полузакрыв глаза - тут тебе и говорят, что в этой музыке главное - паузы, сквозь которые просачивается молчание. Сюжет оказывается наполненным содержанием, содержание - подтекстом, а все вместе лишь некоторое мерцание стиля. Похоже на наступление осени. Осень, впрочем, действительно наступила. Еще одна улика. Осень не наступила, как это бывало раньше, не пришла вслед за летом, но лето исподволь переродилось в осень, точно жужжащее стрекошущее насекомое с неполным циклом превращения. Этот жутковатый процесс протекает прикровенно, его осознаешь только пост фактум, когда сталкиваешься с результатом. С царственной пустотой тополиной кроны за окном. Пустота просачивается в прорехи биологии, заполняет паузы в ритмическом рисунке природного цикла. Точно частичная амнезия. Как звали соседского мальчика помню, а кто была та женщина с бутылкой молока, похожая на фразу из забытого рассказа? Ось симметрии этого орнамента выражена числом гораздо большим, чем казалось всю жизнь. Что касается смены сезонов, их взаимной беременности, то это всего лишь еще один пример стирания граней. Стирание граней составляет суть превращения. Осенний день исподволь превращается в дождливый вечер, как земноводное. Какие-то метафизиологические процессы не явно, но внятно протекают в материнской утробе ночи, из которой рождается все. Время испытывает превращения. Оно становится все более непредсказуемым в своем поведении. Вообще, там, где прежде говорилось о течении, теперь приходится говорить о поведении - Разману это понравится. Материальные процессы приобретают личностный характер. Окружающий мир наполняется призраками. Время то сокращается до мановения, вспышки, всплеска бабочкиной тени под лампой, то удлиняется до размеров зона. Четверг может наступить, как инфаркт, но нет никакой уверенности, что за ним последует

пятница. Требуется отыскать новую точку отсчета, во вне. Но, увы, во вне наблюдается только всеобщее стирание граней и наступление сентября. Осень успокаивает, но не умиротворяет. Всякий человек в определенный момент своей жизни испытывает то же, что проснувшийся Рип ван Винкль. Посередине осени. Посередине старости. Сентябрь холоден и лучезарен. В его светоносности есть что-то оркестровое. Зрение слабеет и становится больше света, кажется формы вещей растворяются, перерождаются в сияющую субстанцию - еще одно свидетельство всеобщей закономерности. Свет сочится из пор темноты. Мир являет свое единство, как основу многообразия - и наоборот, - ускользящую основу, подобие бесконечной матрешки. Сентябрь уже присутствует в апреле. Старик уже присутствует в мальчике - или это не один и тот же человек? И если тот мальчуган на фотографии не я, то кто же тогда этот старик в зеркале? Будущее уже присутствует в памяти - этим, видимо, объясняется дар прозорливости. Свойственный старцам, а не юношам. Будущее просачивается в пустоты, выжженные амнезией. Память не разрушается, но расплывается, теряя привычную линейность, превращаясь. Разрушена структура момента. Реальность приобретает фактуру сна. То есть в окружающем становится все меньше меня - ведь и в сновидении я присутствую лишь номинально. Возможно, все это уже начавшееся последнее превращение. Возможно, оно произойдет так же прикровенно и незаметно, как наступление осени. Кому будет сниться мой сон, когда меня не останется совсем? Что ж, пусть досмотрит Разман. Слабеет зрение, слабеет слух, память о прошедшем и чувство настоящего, пространство же космоса увеличивается, открываются перспективы осенних полей и младенчески ясное громадное небо холодит затылок. Это ясность старика, в одно прекрасное утро проснувшегося младенцем. Такое впечатление, будто для чего-то освобождается место. Пространство и время носят теперь пенсионный характер. Но при этом невозможно ничего успеть, какая-нибудь бытовая ерунда закупоривает время, как громб. Сходить в ЖЭК - уже что-то из древнегреческой мифологии. Старость не успокаивает, но оглушает. И нет никакой точки опоры во вне, ибо стирание граней - процесс динамический. Старость напоминает замедленный взрыв, если слово "замедленный" здесь применимо, ведь время, как система отсчета, улетучилось, превратилось. Можно попытаться объяснить все физиологически. Угасают функции определенных желез, перестраиваются внутренние ритмы. Гормоны, ферменты, склероз, уход на пенсию. Но, во-первых, это все та же бесконечная матрешка: старость объяснять физиологией, а физиологию - старостью; а во-вторых, Разман никогда не примет даже попытки подобного объяснения. Он

уже как-то объяснял все текущие перемены марсианской войной. Точнее, войной миров, вторжением из другого измерения, нарушившим целостность четырехмерной вселенной и отозвавшимся в истонченной и чуткой стариковской душе. Разман - практический метафизик и вздорный человек. Наше состязание вступило в фазу завершения, но о нем, естественно, не упоминается. В доме повешенного не говорят о веревке. В связи с этим умолчанием - да и не только с ним - мне порой кажется, что я забыл что-то необыкновенно важное, точно потерял точку опоры вовне. При этом я прекрасно помню сам факт, но что-то неуловимое сверх него ускользает невозвратно. Нечто существенное, и более того - присутствующее, но неуловимое, как тонкий запах лекарств, как забытая музыкальная фраза. Еще один привет из мира призраков, довольно насмешливый. Впрочем, иногда происходит и обратное. Если память мне не изменяет - если мне не изменяет прошлое, - то все теперешние мои пенсионные внутренние монологи, и диалоги, и бурлески, и весь этот радиотеатр до смешного напоминает, более того - совпадает /текстологически/ с театром одиночества моей юности. К которой отношусь без умиления, но и без плебейского презрения и стыда институтки, свойственных многим. Стыдиться прошлого, тем более столь давнего, как юность, даже если оно исполнено реальной вины, - все равно что стыдиться описанных во младенчестве пеленок. Честность взаимоотношений исключает стыд. Он свидетельствует скорее о том, что в теперешнем состоянии не все в порядке, может быть это - момент узнавания в себе вины. Должно быть я избегаю этого в силу нетождественности своей личности во времени. Я не отождествляю себя с тем болезненно-угрюмым юношей, отношусь к нему, как к лицу в известной степени постороннему, а постороннего легче понять, простить и не стыдиться, чем самого себя. Личность не уловима, личина за личиной, маска под маской, прорастание граней, не поддающееся анализу - пока не останется только пыльное перелистывание собственных прошлых лиц в семейном альбоме. Хотя, быть может, идентификация и состоит в признании-осознании своей вины. Быть может интуиция и чувство вины родственны. Фольклорная интуиция, народное сознание создало универсальный образ матрешки, космической игрушки, не столько веселый, сколько насмешливый. Мы все постепенно переходим в мир фольклора, в сновидение, в страшноватую сказку старости. Зрелость оказалась лишь эпизодом. Соло на дудочке - и вот оркестр вступает опять. Но и в самую трезвую пору своей молодости, когда нехитрая эта мелодия казалась единственным, виртуозным, предельным, и душа не ведала контапункта - думалось почти то же самое. Угрюмо-мечтательный юноша после очередного пора-

жения в очередной сфере бытия лежал на топчане в случайной квартире и думал о времени, о смерти, о всех тех отроческих вопросах, что занимают меня сейчас, в этом, должно быть уже окончательно переходном возрасте. С годами, очевидно, не становишься умнее. С годами становишься старше. И то, о чем думал юноша, старик знает. Одна и та же мысль, но в теперешнем возрасте в ней открывается новое измерение, ей придается нечто существенное, присутствующее и неуловимое, как самая жизнь. Жизнь - это погоня за собственным "я". Жизнь - матрешка, хотя Размана стошнило бы от такой чудовищной вульгарности. Впрочем, никогда не предугадаешь его реакцию. Он стилист и подчиняется материалу. Возможно даже, что и психосоматические сетования придется ему по душе, он тут же сочинит биомистическую теорию угасания, что-нибудь вроде рентгеногаруспики или неоастрологии. Предложит, скажем, по анализу стариковской мочи предсказывать вспышки сверхновых звезд или иные астрономические открытия. На том основании, что старик - явление уже почти природного, почти минерального характера. Грань почти стерлась. Скоро она сотрется совсем, тогда меня заколотят в красный ящик, отнесут на кладбище и закопают в землю, как Рукова. Остается ждать. Остается созерцание. Все пять чувств растворяются друг в друге, слабеют. Бессонными и безмысленными ночами я слушаю темноту. Я осязаю холодный и колючий свет сентября. Память сродни вкусу и запаху. Старческое безделье порождает синкретическое видение мира. Но мне и правда часто снится собственное детство. Эти сны пугают меня. И у меня нет внуков. Старость всегда одинока. Как можно общаться с человеком, живущим в замедленном взрыве. Старость - это водоворот; все предметы и представления, дробясь и деформируясь, стремятся по концентрическим окружностям, чтобы быть всосанными в воронку моего созерцания. Наверное, такова схема умирания. Все, распадаясь, несется по кругу к последней неподвижности, статичности моего сознания, которому уже некуда двигаться. Поэтому теперь все остальное движется по отношению к нему. Осень, если взглянуть неформально, куда в большей степени сезон превращений, чем весна. Это отнюдь не мрачный взгляд на вещи. Это своевременный взгляд. Меня вообще поражает своевременность происходящего, точно судьба выверена по секундомеру. И величайшая милость к нам может быть выражена в двух словах: "Никогда не поздно". Как вовремя открыли мне глаза на сущность китайской музыки, - трагедия возникла бы из чувства опоздания, но оно само свидетельствовало бы о несвоевременности открытия. Осознание же своевременности и уместности - суть смирение, зачисленное в разряд вредных анахронизмов. Я жду. Может быть что-то самое



важное откроется мне в самый последний миг. А пока продолжается замедленный взрыв превращения, и все эти осенние прорехи, разрывы, пустоты и умолчания свидетельствуют вовсе не о дискретности мира; они свидетельствуют о его предельной конкретности. Конкретно: я сижу на табуретке и жду Размана.

Соседского же мальчика, с которым я играл в своем южном детстве, звали Миша. Миша Шатовани.

## II

Разман говорит: "Надо прожить до конца. Когда я был мальчик, у нас в доме были такие красивые тарелки для детей - с картиночкой на дне. Чтобы интереснее было есть суп. Умереть раньше срока стыдно. Поэтому я мало ем и много двигаюсь и не допускаю, чтобы мои края свисали с табуретки. Жизнь следует вычерпать до дна. Умирать не страшно, страшно умирать невовремя. Я еще не все выяснил здесь. Старость - это очная ставка. Что?"

У Размана, несмотря на здоровый образ жизни, очень белое лицо с широко поставленными глазами и голос осипшего Буратино. Он носит старую кожаную куртку и кепку. У него практически нет живота. Он внешне крепок, как многие фронтовики, которых мальчиками бросило в войну, закалило огнем и кровью, и они остались такими на всю жизнь, затвердевшими отроками, молодыми стариками с опаленными лицами. Такие люди умирают в одночасье. Питается Разман преимущественно кефиром. Он уже давно живет каким-то своим ритмом, не зависящим от внешней действительности и потому неуловимым. Иногда он приходит и говорит часами, иногда часами молчит, а иногда не приходит вовсе. Порой он юродствует своим марсианским юродством, но порой говорит необыкновенные вещи усталым голосом с интонацией хирурга, только что закончившего сложнейшую операцию и напрасно, - больной умер. Он приносит продукты и ходит на почту. Уже год как он бросил курить. Иногда он кажется сиделкой, иногда - соглядатаем. Нам никуда не деться друг от друга, мы, наконец, поняли это, смирились и стали почти друзьями.

Разман говорит: "Есть много разных вещей одного характера: осень, старость, английский язык... Раньше я любил, потом ненавижу, теперь анализирую. Чувственное переходит в сферу уморзительного. Мир становится мельче, но чище. Черпак уже скребет по дну, знаешь ли. Невыносимый звук, невыносимый. Все равно что сороковую симфонию исполняют на отбойном молотке. Проблема старости. Вчера, кстати, я долго не мог уснуть и мне вспомнилась одна история. Весьма типичная".

Разман неопределенно кивает на окно. Необычное освещение придает комнате некоторую декоративность. На улице ветрено, и стремительные облака то закрывают, то открывают солнце, отчего свет в комнате то прибывает, то убывает, как в керосиновой лампе. Зрение набито светом, как сверкающим алмазным крошечком, и вдруг он начинает меркнуть, синеть, кажется необратимо. Но потом вновь каскады света рушатся в шкатулку комнаты, и тень остается только в Размановом одутловатом лице.

Разман говорит: "Я встретил его в больнице, когда работал санитаром. Этот человек находился в очень возбужденном состоянии. У самых тяжелых больных я не встречал таких потерянных глаз. Глаза точно бродили самостоятельно по палате. Он ничего не говорил, только иногда начинал кричать одну мелодию. Это довольно страшно, когда мелодию кричат. Потом наступила ремиссия, глаза вернулись на место, и человек стал тихим, как кокон. Когда я дежурил в надзорной палате, он разговаривал со мной и единственный из больных относился ко мне, как к человеку, а не как к внешней неразумной силе. История его была необычна, если он говорил правду. Это поступление в психиатрическую больницу было у него вторичным. Первый раз он не поступил, он родился в ней в одно прекрасное утро. Он не помнил ничего. Ни имени, ни родословной, ни биографии. Единственное, что он помнил, - музыка. Какая-то неопределенная анонимная музыка и навык игры на фортепиано. Сознание было стерилизовано, но кастрация и невинность - разные вещи, так? Он пришел в себя омытый амнезией, но он не был невинным младенцем. Он был виновным младенцем. Потому что он родился убийцей. Больница, в которой он пришел в себя /откуда пришел?/, была тюремной. Его перевели сюда из следственной тюрьмы. Конечно, об этом он узнал не сразу. Шли месяцы обучения, он исследовал этот новый мир, как астронавт - чужую и прекрасную планету. Да, прекрасную. Земной рай. Междуречье между Летой и Эвной. Ему понравилось жить. Психиатрическое отделение при следственном изоляторе было набито патологической и лукавой уголовщиной, но его не только не обижали, но напротив всячески оберегали. У людей, преступивших все законы Божеские и человеческие, такое случается - не от чувствительности, от страха. Он был для них амулетом. Сам он не все понимал, как надо, и этот сброд виделся ему ангельским ликостоянием. Он жил в свете - в сумасшедшем доме никогда не выключают электричество, - прислушиваясь к себе, резонируя на шевеление космоса. Пока однажды к нему не пришел следователь. Следователь рассказал незатейливую историю: его обвиняли в убийстве женщины, имя которой ему ничего не говорило. Он был арестован, и в тюрьме у него начался ост-

рый психоз, в итоге приведший к амнезии. Мир сломался. Земной рай превратился в земной ад. Зло не просто существовало в этом сияющем мире, он сам был его виновником и носителем. Согласись, занятная ситуация. Он не имел никакого отношения к самому себе. "Убийца спрятался во мне", - говорил он. Тем временем следствие было прекращено за недостатком улик. Но он не успокоился и решил сам, на свой страх и риск, продолжить расследование. Один, забравшись с головой под больничное одеяло, он искал в себе преступника. Вскоре его выписали в "удовлетворительном состоянии" - не знаю, кого оно удовлетворяло. "Стрела, летящая во дни" вонзилась в его мозг, зло нарушило статичность сознания, и космос пришел в движение. Он вдруг осознал, что не понимает, что же такое его собственное "я" - и пустился в погоню. Ему думалось, что, может быть, это именно оно совершило убийство и скрылось. Но личность не поддавалась отождествлению. Как неуловимое эхо в гулкой пещере сознания - я передаю его слова. Ему начинало казаться, что преступление совершено мафией - целая толпа мало-знакомых людей, оказывается, жила в нем. Преследуемый скрывался в толпе, но кто же тогда преследователь? Как в детской загадке: кто остался на трубе?

Он будто бесконечно падал в обморок. Я часто думаю: с кого спрашивать. Вот я сейчас, старый и грешный человек, что же, если в следующее мгновение вострубят трубы, мне так и отвечать за все? Скажем, за какого-нибудь двадцатилетнего соплика, который натворил невесь чего, а я его и знакомым-то с полным правом назвать не могу. Неужели мне помимо собственных грехов отвечать еще и за него, только потому, что он является мной? Представь, что же творилось с ним. Иногда ему казалось, что он уже ухватил беглеца за полу пиджака, он делал смертельный бросок - и таранил большой головой пустоту. Жил он ужасно, снимал какой-то угол у сумасшедшего старика, лежал целыми днями на кушетке и гнался за собой. Там, у соседей, было пианино, и он поигрывал иногда в сумерках, для успокоения, точно умывался холодной водой музыки. Словно нащупывал что-то пальцами в клавиатуре. Один раз, думая о своем, об этом проклятом своем, он начал наигрывать какую-то пьесу - потом он не мог вспомнить ее названия - и вдруг почувствовал, что ответ бьется у него под пальцами, бесплотный дух, разгадка - и он опять ускользал вместе с музыкой, он оторванно жил там, в четырех тактах коды, восходил по четырем ступенечкам в гаснущем воздухе и исчезал, как звук. Когда его, связанного, везли в больницу, он кричал эту музыкальную фразу или повторял, обращаясь к санитарам: "Я - четыре такта коды! Я - четыре такта коды!" Можешь ли ты сказать о себе хотя бы это?"

"У меня нет слуха, Разман."

Комната, как кровеносный орган, пульсирует светом. Странная мизансцена: в пустой комнате сидят друг против друга два старика, и один говорит, говорит, рассказывает вымученную историю, то ли гипнотизирует, то ли исповедует, а второй молчит, как вещь. Со стороны похоже, что совершается какой-то тайный ритуал. Скучный быт пропитан эзотерическим смыслом. Свет тончайший золотой патиной разделяет их лица. Взгляд увязает в нем, и лицо на другой стороне видится смутно: а Разман ли это вообще?

Разман говорит: "Я чувствую себя, как опадающее дерево. Когда выпадают зубы и начинаешь лысеть, это не мудрено, так? Но я не о том. Я чувствую себя, как опадающее дерево, изнутри. Старость - ужасный дар. Я встретил Добужинского, он совершенная развалина, а ведь старше меня всего на четыре года. Разница в возрасте, заметь, приобретает отроческую значимость, только с обратным знаком. Я даже не узнал его сразу. Такими страшными бывают разве что заброшенные церкви в глубине России. Но все так же язвителен и умен. Он сказал мне, что когда перед сном он начинает разбирать себя - снимает часы, очки, вынимает слуховой аппарат, кладет в стакан челюсть, - ему кажется, что его не останется вовсе. Я каждый вечер представляю себе, как он разбирается там, в темноте - у него что-то случилось с проводкой, и он второй месяц сидит без света, даже в домоуправление сходить не достает сил, да, наверное, и желания. Один, в темноте и смеется над собой. Нас осталось совсем мало. Смотри, как мало нас осталось. Зато так явственно проступает контур человеческих отношений - все становится проще и глубже. Уже нет былой душераздирающей путаницы - какой ценой! - остается последняя душераздирающая простота. Вопрос, сведется ли все к единой магической формуле, к однозначности ответа? Надо использовать данную возможность до конца - поэтому я много хожу и мало ем и выполняю дыхательные упражнения. Я подозреваю, что жизнь не роман, но афоризм. Так, но как быть с пани Юлией?! Пани Юлия обезножела и сидит дома в своем кресле с продранными подлокотниками, разговаривает с собачкой. Собачка - подозреваю, что ей где-то под тридцать - тоже не ходит, она разжирела, лежит на боку, подергивает старческими лапками и хрипит. Пани Юлия - у нее все такой же меркнувший голос - рассказывает ей что-то часами, говорит с ней и день и ночь - она ведь почти не спит теперь. Или почти не бодрствует, я не знаю, как сказать. Что она говорит ей? Может быть в этой непрерывной тайной речи содержится ответ? Ни с кем другим она не говорит ни слова. Самое печальное, что собачка совершенно глуха."

Разман касается пальцами своего лица, точно проверяет, на месте ли маска. Ничего, держится прочно. У него рассудочные движения шахматиста.

Разман продолжает: "Знаешь самую страшную сказку на свете? Это сказка про курочку и золотое яичко. Мы привыкли к ней в адаптированном варианте, с сомнительным диетическим хэппи-эндом. На самом деле она рассказывается по-другому. Все развивается по предельно простой, предельно жестокой и предельно динамичной схеме - Эсхил и Шекспир унылые болтуны на таком космическом фоне. Когда мышка разбивает яичко - то есть делает то, чего и добивались дедка с бабкой, заметь себе - начинается плач. Плач краток, как смерть. Слово и дело тогда еще состояли в браке. Когда-то погребальный плач над воином был убийством его жены. Старики плачут. Старуха сходит с ума. Внучка вешается от горя. Изба сгорает. Старик, слепой и одичалый, бежит по деревне, встречает пономаря. Тот, узнав историю Курочки-Рябы, заряжается этой черной, всесокрушительной энергией. Он зибируется на колокольную и разбивает колокола. Прибегает напуганный поп и узнает дурную весть о погибшем яичке. Смерть и безумие торжествуют. "Поп побежал и все книги изорвал," - заканчивает анонимный рассказчик. Мир обрушился. Неба больше нет. Такая история - почитай у Афанасьева. Мышка! Виной всему маленькая серая мышка! Они такие юркие твари, не ухватишь, глядь, только хвостик мелькнул. Никакие мышеловки не помогают. Иногда проснешься ночью и слышишь: скребется тихонько. Лежишь и шарிшь в потьмах осторожным слухом: где же это она, пакостница? И вдруг понимаешь: да это же она здесь, внутри черепа, в собственном мозгу! а?" - Разман вдруг наклоняется вперед и заглядывает в лицо, в глаза. Начинаются штучки. Он смотрит в глаза с холодным любопытством судмедэксперта. Свет опадает, как крылья, и широкая тень цвета остывающей золы ложится на окружающие предметы. Разман вдруг чуть заметно подмигивает.

Разман говорит: "Когда огнелицкий Ангел с мечом войдет в мою дверь и спросит: "Мыши есть?" - что я отвечу ему?"

Разман говорит: "Я тут прочитал: в обозримой истории человечества зафиксировано четырнадцать тысяч с лишним войн, в которых погибло почти четыре миллиарда человек. Не считая молча задушенных в подвалах, забитых в хулиганских подворотнях, отравленных родственниками, сожженных на кострах, замученных с помощью хитроумнейших приспособлений. Иногда мне снится кошмарный сон: будто человечество - целеустремленный самопоедающий организм. Какая фантазия в изобретении орудий убийства и пыток! Сколько творческой энергии и энтузиазма! Страшно

включить телевизор - он точно сундук, набитый насилием. Ящик Пандоры. Все знают, что человек - это звучит гордо, и создан он для счастья, как птица для полета, но даже дети во дворе размахивают игрушечными орудиями убийства и понарошку расстреливают друг друга. Если бы им дали играть с целлулоидными фаллосами - это было бы порнографией и растлением малолетних, а пластмассовый автомат с мигающей лампочкой - забава. Орган, дающий жизнь, и инструмент, несущий смерть, так. Идет кампания против курения - мол, нельзя в кино показывать курящих героев. Курящих нельзя, убивающих - сколько угодно. Мир отравлен насилием. Шпионы, гангстеры, террористы - имя им Легион. Фанатики смерти, почерневшие от какой-то вывернутой дьявольской святости. Бесноватые и одержимые. Людоеды. Срубал гад, де Местр, Цезарь Борджиа, Пол Пот - кто следующий? Железная саранча, тучи железной саранчи с человеческими лицами. Люди. А все мышка, маленькая серая мышка, кокнувшая где-то в начале золотое яичко. Или может быть во всем виноват тоже я? Может быть все это произошло по моему недосмотру? Но тогда я недостоин даже смерти. И если милосердный Бог в бесконечной своей любви простит меня и отворит врата своего Рая и скажет: "Входи!", я отвечу: "Нет, Господи!" и сам прыгну в кипящее смоляное озеро. Бесконечная пытка - и та будет милостью для меня. Но неужели так и обстоит дело? Неужели действительно каждый - то есть я - виноват во всем? Я просто обязан это выяснить здесь. Я должен ухватить эту серую нечисть за хвост. Слушай, а может быть во всем виноват ты?"

Ход неудачен. Бестактный вопрос повисает в воздухе.

"Что-то в последнее время много разговоров о милосердном Боге. Ты, никак, стал верующим, Разман?"

"Я стал старым."

В Царство Небесное нас не впустят. Но иногда мне верится, что по милосердию разманового Бога мы не сгинем окончательно, не провалимся с головой в эту черную старость, но из последней заключительной темноты выбредем все же к свету. Нет, не к тому, бесконечно расцветающему, как Дантова Роза, сверхзримому и превидимому, а к слабому разреженному отсвету сияющего Царства, ложащемуся осенним золотушным пятнышком в окончателность тюремной ночи. И мы доползем до этого убежища, световой лужайки, отмели - ватага стариков и старух, лагерь беженцев и ветеранов марсианской войны, и затихнем там. Мы успокоимся там, я и Разман, злейшие враги, мы заключим там вечное перемирие.

Разман говорит: "Ксении совсем плохо - вот она, цель мирового зла. Ксения страдает. Почему всегда страдать должна Ксения? Пока мы говорим здесь сложносочиненные предложения, пока эта

осень красиво разваливается и приходит в упадок, пока космос, пока жизнь, пока время. У каждого свой ад. Но Рай - Рай ведь должен быть у всех общий?"

Характер освещения изменился. Солнце, слабея, осело, сползло за крыши соседних домов, и в окружающем пространстве ощущается некоторая предвечерняя двусмысленность. День уже кончился, но вечер еще не наступил, и на этой нейтральной полосе можно почувствовать истинную природу времени. Зрение подернуто сизым дымком сумерек. Размазан как-то сник на табуретке, он похож сейчас на переспелый, чуть побитый плод. Время, не зависящее от движения планет и колебаний частиц - время сумерек и стариков. Вещи получают недолгую передышку и ведут себя так, как если бы на них никто не смотрел. Сумерки секретным ОВ заполняют дольний мир и эту полупустую комнату впридачу. Многозначительность почти театральна. Разман вдруг встрепенулся, как темноватое облачко, вспугнутое сквозняком.

Разман говорит: "Но может быть я лезу не в свое дело, а? Подождать до Страшного Суда? Дело солдата - сражаться, вручивший меч потом оценит заслуги и промахи. Но в этой макбетовской путанице причин и следствий, лукавых превращений - добро есть зло и так далее - немудрено вконец потерять. Где ориентир? Там, вверху? Но, знаешь, глядя только вверх, и шага не сделать по грешной земле, чтобы не провалиться в какое-нибудь отхожее место. Только этот ночной голос, дьявол, подсказывает очередной ход. Почему же он все глуше и глуше в нас? Раньше - радуга, облак, огненный столп, а теперь лишь кошачье поскребывание под утро. Может так было всегда? Может он звучит только для избранных? Где же они - соль земли, свет мира, сто сорок четыре тысячи праведных? Или все-таки имеется в виду нечто другое, - по Разманову лицу, едва выступающему в темноте, точно палуба затопленного корабля, проползает неторопливая улыбка знающего-но-скрывающего - А помнишь общую теорию боли?"

Он сочинил ее как-то в такой же вымороченный остановившийся час. Будто боль - это сигнал, код, информация извне - кто отправитель? - единственно необходимая, указатель спасения, должно быть. Передача, ведущаяся на самом действенном уровне восприятия. И мы, вместо того, чтобы прислушаться, расшифровать ее - тогда она перестанет быть болью, но станет - спасением, глушим боль анальгином и морфием, прячемся в кокон анестезии. Только мученики решаются на контакт. Я, как всегда, ничего не сказал ему на это, избегнул очередной ловушки - умолчание тоже ход.

Разман говорит: "Совесть и боль, так. Но История - не очередь к зубному врачу, как ты думаешь? И кто вообще предстанет



перед Судьей - ведь мы так связаны друг с другом, что, взятые по отдельности, почти ничего и не значим. Что я - без Ксении, без Лурии, без тебя, наконец? А, может, и предстательствовать будет изначальный виновник, Адам? Адам в значении "всечеловек". Интересная мысль, а? Правда, несколько соблазнительная..."

Его лицо уже неразличимо в темноте, неслышно обвалившейся на мир, погребая всякое дыхание, вещь, свет, словно напоминая о начальном бесформенном единстве. Темнота липким черным молоком заливает глаза - только человеческое лицо слабо мерцает откуда-то с той стороны, и звучит мерный отдельный ото всего голос. И тогда, под покровом ее, я разбойно, как настоящий рыцарь мрака, как тать в ночи делаю свой ход.

"Ведь ты воевал, Разман. Ты видел смерть и сам убивал. И все мышка, а, Разман?"

Темнота говорит голосом Размана: "Ты всегда и во всем был дилетантом, даже занятие себе экое придумал - издательский работник. Я, напротив, к самой жизни подхожу, как профессионал. Я бы писал в анкетах: род занятий - живу. Отличие - в чувстве ответственности; ведь это и есть, должно быть, вера. Я не молокан, чтобы бросать оружие. Я был там, я заглянул смерти в глаза, так. Я отразился в ее глазах. Я был свободен - ведь у меня не было выбора. Согласись, свободный выбор - парадоксальное словосочетание, оксиморон: выбор исключает свободу. У меня был только путь, которым я шел. Не помню, слышал ли я тогда шебуршание нашей мышки, совесть - кричала. Это - профессиональное, дилетант не может быть воином. Но, знаешь, я не нашел там зла, только война, "дело", как говорили раньше. То есть всюду были его следы - страх и смерть, но само оно ускользало, всегда на пол-шага, на пол-взгляда, на пол-вздоха сзади. Люди воевали против людей, ведь самый последний палач был когда-то ребенком, - это не рассуждение пацифиста-дилетанта, я сам убивал, ты прав. Я открыл счет. И пуля, предназначенная мне, может быть, все еще летит."

Разман говорит: "Мое ремесло - жизнь, а о смерти знают только мертвые. Но ведь с войны не вернулся никто."

"Каждый получает свое," - говорит Разман.

### III

Из истории игры: теперь трудно установить, кто сделал первый ход. Мне кажется, что, все-таки, Разман. Впрочем, структура игры такова, что осознаешь ее /насколько это возможно/ уже будучи включенным и полностью задействованным, изнутри.

Можно сказать, что она безначальна - точка отсчета всегда ускользает. Так неумолимо ускользает собственное "сейчас", показав насмешливо розовый язычок из зеркала. К тому же передачу памяти усложняет множество случайных и направленных помех, сквозь которые ей приходится пробиваться, проникая все эти минувшие годы и десятилетия, да и сам приемник разладился донельзя. Я, вообще, подозреваю, что конструкция его давно устарела. Еще одна оговорка: мы были молоды. Старость - среда стерильная на высшем лабораторном уровне /во всяком случае, пока "я" сохраняет свою цельность, но ведь и имеется в виду старость, а не агония/. Четкость графика проступает в жизненном рисунке. Что же определенное можно сказать о взбродившем безобразии молодости, об этом душевном протобульоне, где в хаосе физических катаклизмов и химических реакций еще только должна зародиться собственно жизнь. Жизнь - осознание, определение себя, как начала вне-мирного именно через взаимоотношения с окружающим безначальным и безликим миром. Начало сознания - обмен веществ. Это уже игра. Когда юноша, ослепший от боли и наслаждения, смертельно отравленный сладкой горечью желаний, совершает самоубийственный дрейф по бурным водам своего ночного полушария, - душа еще только жаждет обрести себя. Так гибнут, и так открывают континенты. Но момент обретения не зафиксировать. Возможно, просто наше время не подходит для его определения и выделения. Сознание же игрока - это полное, но никогда не законченное осознание себя в динамической структуре мира, стремительная адекватность предначертаниям рока через ряд специфических атрибутов, функции и понятий игры. Правило, цель, непрестанное действие и, как высшая его форма - состязание. Точно сияние разящего клинка озаряет всю жизнь. Я отнюдь не кровожаден, и даже, по настоятельным советам Размана, пытаюсь приобщиться вегетарианства. Но условия игры предполагают противника всегда. Это - человеческое. Можно играть в поддавки с Господом Богом - суть религиозное лицемерие, можно решать кроссворды природы - но такое познание лишено силы, бескровно. Человек предполагается человеком. Ненависть и любовь - только две стороны игры. Как мы любили и ненавидели тогда, все мы, соединенные водоворотом поколения, судьбы, истории - Разман, Ксения, Руков, Венечка, Добужинский, Вера Шахова, я. Наверное, мы и впрямь были похожи на заговорщиков или сектантов - заговор любви. Время пьянило. История дышала страстью. Страсть чистая и сильная, как вертикальное пламя газовой горелки, жила в каждом из нас. Когда мы собирались на чай к Добужинскому, казалось, заседает секретное веселое правительство мира. Пожалуй, только Руков уже тогда мертвел среди нас сизоли-

цым самоубийцей. Что ж, после самоубийства он вурдалаком прожил еще сорок с лишним лет.

С ненависти и любви началась игра.

В какой-то незафиксированный момент очередное случайное движение, простое сокращение мышцы, вызванное внешним раздражителем, оказывается ходом. В хаосе рождается точность. Привкус смысла влечет, как вкус соли; невозможно уже оставаться в безликом и пресном мире. Когда из всего громаздящегося враждебного космоса я выбрал единственную фигуру Размана, осознал его, как соперника, я обрушил на него всю стихийную энергию юности и уничтожил его. Как языческий жрец, гордый и перепуганный африканский колдун, я вызвал на его голову все демонические силы мира и уничтожил его. Так мне показалось. Это была уже игра, но еще слишком дилетантская. Любительская от слова "любить". Избыток ненужных эмоций и ослепление азарта. В шахматы играют в ином состоянии, чем в очко на пальцах /впрочем, ничего не имею против этой весьма достойной - в определенных условиях - игры/. Но - увы - начинающий видит не дальше, чем на ход вперед. Тяжелая артиллерия ненависти оставляет и победителя ни с чем, на выжженной мертвой земле. Постепенно, в ходе игры, мы прозреваем ее летящую стремительную конструкцию, неизмеримо сложную, как система зеркал, вмещающая бесконечность; все является ее условием. Тогда мы еще не сознавали, что каждый поступок может быть ходом в игре и уж, во всяком случае, должен быть рассмотрен в ее аспекте. Цель игры не уничтожение. Разман не был уничтожен, но зато новым подвальным светом высветился Руков и сыграл свою зловещую роль. Мы очутились точно в центре взрыва. Заболела Ксения, пропал Венечка, пришлось уехать Добужинскому. Нечеловеческая сила разметала нас во все пределы географии и истории. Но здесь, во взорванной вселенной, мы - я и Разман - и не погибли, потому что приобщались игре, все отчетливей проступала для нас гармония за видимой неупорядоченностью и смятением, мы все глубже проникали в ее правила, руководствуясь ими, сами творили игру, губительную и спасительную одновременно, как жизнь. И если первоначально нами слепо руководила воспаленная и тяжкая, как несварение желудка, жажда мети, то постепенно мы начали вникать во вкус самой игры. Каждое движение, каждый поступок приобрели направленность, каждая жизненная ситуация высветилась невесомым, но прочным, как сталь, светом смысла. Первые лет десять-двенадцать после войны наши с Разманом дороги пересекались всего несколько раз, но мы чувствовали друг друга на расстоянии. Мы были связаны сетью случайных и неотвратимых сигналов. В игру вовлекались, становясь ее элементами, новые ли-

ца и события. Узор ее плетения усложнялся и утончался, обретая чудовищную крепость подлинной реальности. В текущем и предательски меняющемся мире именно она становилась ажурной несущей конструкцией, удерживающей его от распада и безумия. В каждом человеке живет игрок, но у большинства он - увы - увязает где-то в подкорке; всякие человеческие отношения содержат принципы игры, но, как правило, они погребены в вибрирующем витальном хаосе. Фон поглощает сигнал. Шум заглушает мелодию. Но любая семья - уже недоношенный вариант игры - откуда иначе эта разрушительная страсть бесконечного копания в супружеских /дружеских, служебных etc/ отношениях, сладкая и болезненная, как рана, доводящая до патологии. Недаром в психиатрии существует термин "бред отношений." Предчувствие игры может свести с ума. Все великие любовники, враги и друзья во все времена были именно соперниками. Античность кишит такими примерами, недаром греки создали трагедию. Ближе - теплее, Шекспир свидетельствует об игре на каждом шагу: возьми "Ромео и Джульетту". Заглавные герои, конечно, по своему малолетству совершенно аморфны, но блистательный интеллект Меркуцио - вот игрок самого высокого класса! Вся его дружба с Ромео - жестокий и рассчитанный поединок, венчающийся великолепным ходом: смертью-победой! Должно быть Меркуцио сам был влюблен в молоденькую Капулетти - некоторые нюансы его настроения косвенно указывают на это. Впрочем, такая мотивировка не обязательна, и даже несколько снижает образ игрока, как всякая функциональная причина. Но, думается, игре необходима - по крайней мере в начальной стадии - вполне материальная закуска. Тотализатор человеческой страсти. Но потом, позже, забывая о тщеславии, ненависти, сребролюбии, уже входяшь в нее извне целиком, бескорыстно начинаешь жить в ней и только ею. Это больше любви. Все может стать ходом: слово, жест, встреча, интрига, прикосновение, тень. И все же, даже оттолкнувшись от своей осклизло-материальной причины /или, точнее, - повода/, преступив ее, игра не впадает в декаданс, не превращается в бесплодное фантазирование, игру ради игры. Мы отвергли причину, нам неведома цель, океанская волна интуиции несет нас, и мы, как эти спортсмены, что катаются на досках в полосе прибоя, стремительно скользим к неизвестному берегу, балансируя на ее гребне. Это говорю я, оплывшая, точно глинистый холм, развалина - и не боюсь показаться смешным. Да, мы играем, не зная цели: цель - победа, но как она осуществится, в чем состоит и что даст, - неизвестно. Это неведение рождает холодящий стимулирующий ужас азарта, случайности и свободы. Мы, точно шахматные фигуры, сами разыгрывающие решающую партию. Двигаясь по пло-

скости, мы не можем увидеть всего строя и плана игры, нам доступен лишь данный фрагмент, сколок - увидеть все можно только из третьего измерения. Разманов гипотетический Бог следит за нами. Именно так эстетика обретает жизненность; жизнь превращается в танец. Каждое горизонтальное свое действие приходится соотносить теперь с наблюдающим третьим измерением, и оно обретает помимо своего посюстороннего насущного смысла еще и потустороннее пластическое значение. Оно должно быть прекрасно, если смотреть сверху. Это напоминает танцы пчел. Вертикальное измерение присутствует во всем. Все становится своего рода предстоянием. Мы танцуем с Разманом свою игру, но только оттуда, сверху могут нас рассудить и определить победителя.

И все-таки, если быть откровенным, по-настоящему я обретаю ее только сейчас. Только сейчас, когда глаза все меньше мешают видеть, уши - слышать, тело - осязать и понимать - мозг, мир становится единым, а игра - цельной. Пусть в вашей горизонтальной линейной зрелости мы не всегда осознавали, что делаем очередной ход, но мы всегда помнили друг о друге, решаясь на что-то, ревниво ловили друг друга в средокрестье прицела. Теперь же, когда эта упрямая линия оказывается лишь одной гранью бесконечного многоугольника, а старость, как облако, заполняет дом, мы все чаще помним и о том верхнем пристальном измерении. О пустом небе, которое вогнутым зеркалом отражает наши нелеповатые фигуры, увеличивая их до бесконечности. Уже непонятно, кто кем движет: игрок ли пешкой или пешка игроком. Должно быть старость и есть фантастический процесс перерождения пешки в игрока. Не удивительно, что Разману так хочется прожить до конца, успеть. Хотя бы узнать, возможно ли это в принципе. Но и в здешней нашей теперешней полусвободе мы прозреваем смысл и оправдание человеческого. Страсть, воля, раздор - все эти движущие сумрачные силы человека находят свое оправдание и цель в логике игры: прозревшие шахматные фигуры начинают кое-что понимать. Мы творим игру, а она творит нас. Это постоянный процесс, который не может быть завершен - по закону свободы. Но я должен завершить его, пока не наступил естественный предел. Я должен победить Размана. Игра творит нас, и ненависть постепенно перерождается в какую-то странную магнетическую любовь. Мы сдавили друг друга в смертельных дружеских объятиях. Не знаю, что произойдет, если я одержу победу: наступит конец, или наоборот, раскроется уже на каком-то новом, неизведанном уровне та свобода, где личность обретает все. Хотя, быть может, ничего не произойдет вовсе.

Теперь, вспоминая и оценивая, анализируя, я начинаю понимать, что жалеть не о чем. Сожаление о содеянном исключается

принципом Игры. Только она и осветила жизнь бескорыстным и безответственным смыслом; не прикладной телеологией, но действительной логикой бесконечного. Отсюда - уже почти извне - я так ясно вижу ее неявную безграничность, - это восхищает. Чувство благоговейного смирения оказывается чувством благоговейной гордости - игрок поймет меня. Совпадение воли и случайности - вот прикосновение к тайне. Даже ошибки и промахи прекрасны, ибо укладываются в ее структуру, обусловлены предельно жесткой и за предельно свободной логикой Игры. Порой мы, как шахматные фигуры, делаем очередной ход, не сознавая того, но отсюда, с девятой линии, мне видна уже почти вся партия. Я привычно пользуюсь шахматной терминологией /хотя в шахматы играю весьма скверно да и в принципе не люблю этой слишком уж детерминированной игры/, но лишь условно, ведь, помимо изящной рациональности шахмат, в Игре - и рыцарски - плутовской азарт покера, и смертельная свобода рулетки и всегда нечто еще. После ошеломительного, но дилетанского дебюта, партия вступила в фазу кропотливой и утонченной разработки. Даже мой неудавшийся бесплодный брак, даже болезненный крах его, оказывается выверенной серией ходов защиты. А Разман - как рискованно и красиво вел он свою линию. Его послевоенные мытарства - сколько профессий он сменил за два десятка лет: от шофера-испытателя до санитара в психбольнице, от горноспасателя до линотиписта, - неприкаянность, зыбкий ореол жертвы, тонко подсвеченный безболезненной самоиронией: все это было защитой-наступлением, ненавязчиво агрессивным, но неотступным. Вначале он страдал еще некоторой прямолинейностью, с годами же приобрел легкость и стремительность мастера. Когда его нимб мученика несколько поблек, а валюта благородного страдания как-то девальвировалась, - вот-вот сквозь этот осыпающийся приевшийся всем образ должно было проступить потасканное и немолодое уже лицо обычного неудачника, Разман произвел изящнейшую классическую комбинацию - я до сих пор в восторге и досаде. Как-то исподволь, вроде и не от него даже, выяснилось, что Разман пишет роман. Этот слух, который он ни подтверждал, ни опровергал, сразу же перевел его в другую категорию неудачников, как бы и не неудачников вовсе - Разман сделал скачок из мучеников в подвижники. Роман, никем не виденный, ни единой строчкой не просочившийся в наш нижний мир из размановских эмпиреев, но несомненно талантливый - кто бы усомнился в таланте, пусть скрытом, непроявленном, тайном - так даже больше прелести, такой оригинальной личности, оправдывал и искупал все. Начать писать роман - слово заболеть раком, все грехи списываются, и знакомые начинают говорить приглушенными голосами.

Я ни на секунду не поверил в то, что Разман занялся вдруг сочинительством. Это как раз в его манере - не солгать, но создать ложь. Я скорее бы поверил в то, что он основал секту или организовал заговор - Разман из породы демагогов и лицедеев. Да и то вряд ли: не чураясь никакой физической работы, он с крайней брезгливостью и настороженностью относился ко всякого рода производству духовной продукции, предпочитал цитировать Евангелие там, где "от слов своих оправдаетесь и осудитесь", нежели "Вера без дел мертва". Может быть и я столь уязвлен был слухом о его романе, что и сам жил только верой - странно звучит при моем атеизме и агностицизме, но не знаю, как иначе назвать это чувство, этот стиль и жизненный образ, не позволивший мне увязнуть в клокочущих трясинах практики - разве что Игрой. Любая форма опосредования чужда мне. Человек самоценен - вот формула моей религии. Потому разманова ложь показалась мне предательством, а правдой это быть не могло. Впрочем, Игра вполне допускает подобный ход, должно быть, я просто завидую. Но чистая ложь - это и не совсем ложь, скорее фантазия: ложь требует подтверждения, фальшивого доказательства и лжесвидетельства. Разман уже переигрывает, его история с романом слишком затянулась и без подкормки скоро обернется против него, жалко и стыдно, как всякое избалованное мощенничество, хотя, по истечению лет, у него остался только один оппонент. Впрочем, Разман слишком опытен и хитер, чтобы так просто сдавать позиции; я уверен, что у него есть запасной ход. В этой фазе Игра перешла уже на такие интеллектуальные, умозрительные уровни, что и прежние ставки утратили свое значение. Аристократическая простоватость русской рулетки уже давно не устраивает нас. Жизнь, как ставка, кажется не стоящей игры; игра переросла жизнь. Скорее, как ставка, подходит смерть.

Как-то давно, уже много лет назад, один человек, некоторым случайным и неполным образом посвященный в секрет нашей с Разманом игры, упрекнул меня в том, что в нашей отчужденной цивилизации я - и мне подобные - только усугубляют эту губительную отчужденность. Упрек некорректен. Причем здесь цивилизация; мир - уже сфера отчуждения. Всякий человек - в своем роде Куинбус Флестрин, и все мы слепы, наощупь прокапываем тоннели в темных недрах этой горы. И если я не следую магистральной норой, но дерзнул рыть собственный ход в сторону /вверх? вниз? - поди определи/ - это вовсе не свидетельство отчуждения. Кто знает, может быть именно мой ход окажется ближе к поверхности. И может быть - как ни тускла надежда, как ни мала душа червя - я докопаюсь сквозь безмерную толщу породы дотуда, пророю ход вовне, прорвусь к ним. И тогда, как путник на средневековой гравюре, до-

может быть именно мой ход окажется ближе к поверхности. И может быть - как ни тускла надежда, как ни мала душа червя - я докопаюсь сквозь безмерную толщу породы дотуда, пророю ход вовне, прорвусь к ним. И тогда, как путник на средневековой гравюре, добравшийся до предела мира, я просуну голову наружу - увидеть, ослепнуть, умереть. Я выберусь наружу. И, может быть, там, наконец, я встречу Размана.



## Владимир ШИЛЕНСКИЙ

*..при первых же признаках послабления,  
каждый стал думать, как бы построить себе  
мост отсюда до самого Санкт-Петербурга,  
причем, в отличие от Манилова, озабочен не  
так самим строительством, как взыванием  
платы за проезд...*

А. Таллер

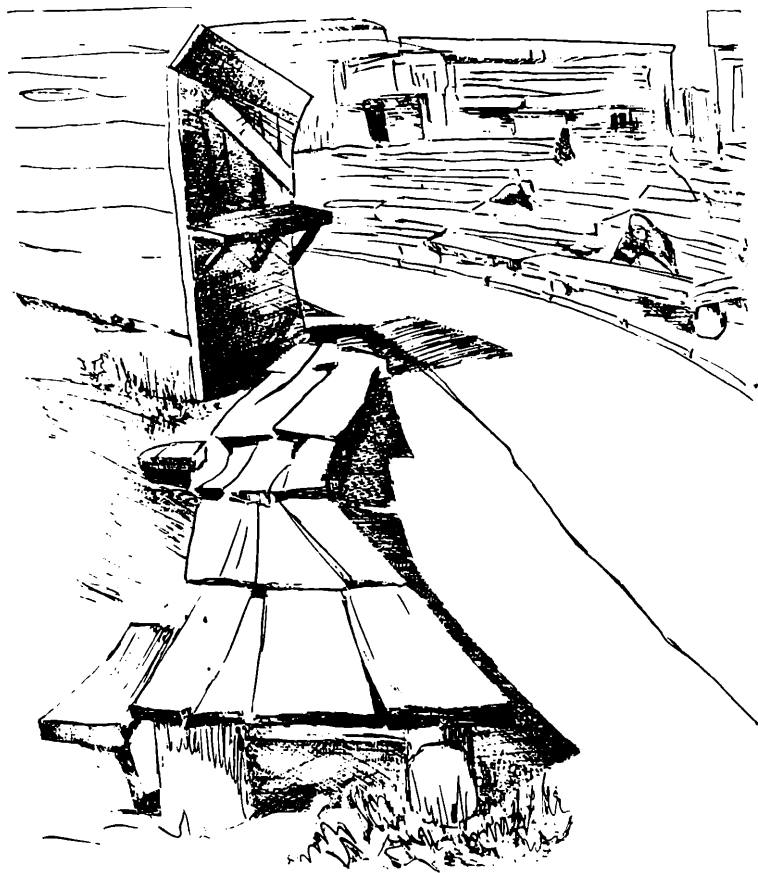
/из частного письма/.

### ОТЪЕЗД

Мой друг, он взял и - переехал...  
Все перевез, что только смог,  
лишь эхо и оставил, эхо  
забыл, наверно, под шумок.  
Не трогай прошлого, не трогай!  
Он в амальгамовый овал  
смотрел с сомнением и тревогой,  
и сам себя не узнавал -  
и вспомнил:  
комнатую смеха  
он в детстве так был поражен,  
когда свое увидел эхо  
размноженное, тиражом...

О жизнь! нам так тебя хватило -  
на пальцах след твоей пыльцы.  
Ты опустела, как квартира,  
когда разъехались жильцы...  
Зачем от первого успеха  
у первой женщины моей  
во мне осталось только эхо,  
и эхом я остался в ней?..

...Я помню школу: "ложь, актерство,  
все поклоняются рублю!.."  
Ах, Саша, знаешь, - пообтерся  
и вот - Манилова люблю...  
Манилов - лето, пруд заилен,  
ивняк от сумерек лилов.





Ах, Лиза, Элоиза, или  
вечерний карасиный клев.  
Малинник, суматоха птичьья,  
сосед пожертвовал слона...

Но тянет манией величья  
из европейского окна.  
И несть числа в душе прорехам,  
и не заполнить ближний план...

Всего делов-то - переехал -  
ах, если бы напополам!

1984-86

## СТИХИ ИЗ КРЫМСКОГО ЦИКЛА /сентябрь - октябрь 1989/

### Попутная Песня

Какой монетой расплатиться  
за раков, свищущих горе,  
за музыки стальную птицу,  
за выговариванье "ре",  
за марцифаль и за реланиум,  
за циклодол и наракин,  
за исполнение желаний,  
что загадали дураки,  
за ваши, лабухи, баллады  
на алладиновы слова,  
за пайку лагерной баланды!?!  
Чем расплатиться мне сполна  
за смерть, за душу, что однажды  
вернется в этот хоровод,  
где - все томим духовной жаждой -  
за колбасой стоит народ!?!.

...В Крыму массандры больше нету,  
зато повысился надой,  
И, охраняя тайну эту,

всплывает лодка над водой.  
А, значит, близок Севастополь,  
крепки Отчизны стапеля...  
Платить? - мы едем автостопом  
туда, где кончится земля!

## Крымское танго

Марине

### I

Дожди кислотные стеной  
пришли из Красноперекоска.  
Не избежал я перекоса  
в семейной жизни. Жестяной  
дул ветер с моря. Шла волна,  
и было холодно купаться,  
но хорошо в себе копать,  
касясь пальцем валуна...

По пляжу шлялся, одинокий,  
а вечером забрел к соседям.  
За этим, собственно, и едем  
мы к морю, чтоб хоть на денек  
все позабыть... Скрипя, лады  
просили праздника, реванша,  
и, как бы говоря "не ваша,  
но - может быть...", сидела ты  
напротив. И полунамек -  
полувопрос в глазах рождался  
твоих, на ниточке держался  
наш странный разговор. Намок  
вдруг воздух, и тогда,  
прозрачной шелестя рогожей,  
покрытую гусиной кожей,  
внесла на цыпочках вода  
прощанье. Вещи подхватив,  
все разошлись, а мы курили,  
и мотылек, калеча крылья,  
в гитаре бился на мотив -  
тягучий, слышный еле-еле:

"...пу-усть звенят, звенят копыта...  
а-между нами все забыто...  
на постеле, на чужой постеле..."

## II

Отсыревших буксиров  
мир пустынен и сир.  
Не купить у кассира  
от тоски элексир.  
Здесь шуты и зеваки  
всех пород и мастей...  
О такой ли Итаке  
грезил ты, Одиссей?  
Море харкает пеной  
на писательский пляж.  
Может в целой вселенной  
нету горше пропаж,  
чем такая планида -  
ни зарубок, ни вех:  
потеряешь из вида -  
потеряешь навек.  
Есть спасенье во блюде -  
только краток приют.  
Есть счастливые люди -  
только в душу плюют.  
Есть морские прогулки -  
только нет небылиц...  
В море главное - булки -  
откупиться от птиц.  
Ах вы, чайники-чайки!  
я живу вопреки:  
мне любви на полпайки,  
как иному - пайки.  
Но за склонность к минуте  
Коттебель в сентябре  
память, словно монету,  
возвращает тебе.  
И когда я, над бездной -  
на витом волоске -  
стану вторить железной  
пароходной тоске, -  
до озноба, до дрожи

свяжет десны хурмой  
птичий крик, что не может  
не горчить за кормой,  
где язык волнолома  
от лекара набух...  
Где же ты, Пенелопа, -  
бред покинутых бухт!?  
С кем же ты, Пенелопа?  
Впрочем, в этом ли суть...  
Пять минут до Потопа -  
негде рук всполоснуть.

## "АТТРАКЦИОНЫ"

## повесть

## IV

Странные вещи происходят со мной в последнее время. Не особенно значительные - некоторые из них, кажется, маскируются своей незначительностью, но настолько явно выпадающие вон из привычного ряда событий, причин и следствий, что начинаешь видеть в них знаки и указания которые не в состоянии расшифровать, да и легким холодком возникает внутри сомнение - а мне ли вообще они предназначены? Будто забрел на чужую территорию - или это обычный стариковский комплекс неполноценности и вины: дескать, зажился, дед? - так в осеннем обветшалом лесу идешь по незнакомой тропе и видишь сломанную ветку, непонятный иероглиф, вырезанный ножом на тугой коже хмурого дерева, сложенную из камней пирамидку "обо" в беспмятном углу непролазной геометрической чащи. Словно пытаешься прочитать чужие письма - на незнакомом языке, или смотришь чужой сон. Иногда же, напротив, в невнятном чужом сне старости только эти отметины и засеки оказываются ненавязчиво-ослепительными признаками яви, только в этой пригоршне случайностей и содержится правда, и что-то нестерпимо знакомое мнится в них: точно услышал в чужом гортанном говоре слова давно забытого языка давно покинутой родины и силишься вспомнить их значение, и жгучие сухие слезы набегают на полуослепшие глаза, и вот-вот, кажется, вспомнишь. Но собственная голова - как опустевшая крона дерева, сквозь которую дует ветер, ничего, кроме пустоты, кроме цепкой золотистой пустоты, которую не ухватишь слабой, но цепкой стариковской ручкой. И вновь погружаешься в осеннюю беспмять листопада и шум вод, пока, точно старый осевший плот из полусгнивших бревен, не наткнешься на очередной знак, указание, огонь. Впрочем, может быть, подобные явления и ситуации присутствовали в грохочущем цветении жизни всегда, от начала /для ребенка вообще любое явление или ситуация - знак/, неприметные, словно бакен на реке, зажженный в нестерпимо яркий, с опрокинутым в него солнцем, полдень - и не свет, но лишь призрак света; теперь же, когда темнота сгущается и текучая вода жирно чернеет, всхлипывая и покачивая вдоль бортов, огни эти становятся все ярче и ярче, а рисунок их четче, проще и, в то же время, оказывается, неизмеримо сложнее,



чем думалось прежде. По мере того, как темнота сгущается, формы и грани претерпевают взаимные превращения, стираются, отступают, и остается единственная реальность огня и света. И это отнюдь не наивная попытка мистики, предпринятая, вцепившимся мертвой хваткой утопающего в этот разноцветный, как гигантский глаз, мир сознанием, напуганным приближением естественного конца. Напротив, никогда еще я не воспринимал мир столь цельным, единым и имманентным - словно один солнечный сентябрьский день. Осколок чистого стекла. Все, наконец, обретает подлинную конкретность реальности - так что даже дышать трудно, и воздух уже не втягиваешь хрупкими легкими, но пьешь, тяжело запрокидывая голову, точно искрящуюся горную воду. Старики не впадают в мистику, вопреки распространенному мнению; мистика - удел незрелых умов, копающихся в лабиринтах собственных мозговых извилин, при сомнительной помощи жалкой пятерни своих чувств и нехитрого арифмометра логического аппарата. Они вызывают "де профундис" среди сонма абстрактных теней и призраков, наполняющих, да, собственно, и составляющих их сумеречную отравленную жизнь, и потом долго вслушиваются в отголоски хихикающего эха, отраженные цементным потолком и стенами пещеры, норовя расслышать в этом многократно искаженном звуке ответ на, в общем-то, и не заданный вопрос. Точно железным щупом тычут они в темноту отточенным острием своего "интеллекта" или "интуиции" и при этом становятся опасными, ведь эдак, в темноте, можно ненароком проткнуть слабую податливую плоть ближнего своего. Старики не впадают в мистику, старики впадают в детство, как реки - в Океан. Дети не болеют мистицизмом, потому что для них весь мир - тайна, загадка, головоломка, ребус, и в то же время - объект игры: это и есть свобода. Здесь, на золотушной осенней отмели старости, где я, и Разман, и Ксения, постепенно утрачивая все бывшее, утрачивая бумажную чернильную память, утрачивая свои вечно лгущие пять чувств, обретаешь взамен ощущение игры - не насупленных игр зрелости с постоянно повышающимися ставками, но детской игры для игры, как ощущение мига, золотой булавочкой вонзившегося в диафрагму. Чувство мгновения, как чувство бесконечности. Игра делает нас свободными, потому что игра и есть истина, не выкристализовавшаяся в формулах и не выпавшая хлопьями в мутный осадок слов но истина в своей непостижимой динамике, постоянно обретаемая и постоянно ускользающая и манящая вечно. Что мне теперь все эти трансцендентные штучки, вымученные, как под пыткой, страхом смерти, если во мне совершенно естественно, как жажда или дыхание, присутствует живое и непосредственное осознание себя, как микрокосма, конечного, но безгра-

ничного. Что мне самое смерть, если моя жизнь не имеет пределов. "Прожить надо до конца", - справедливо говорит Разман. До конца, до бесценного наследства золотой паутинки света на блестящем паркете пола в углу. Что же касается каких-то новых закономерностей и связей, не увиденных прежде за стальным дневным забором собственных ощущений, то и здесь не кроется никакого противоречия - так, скажем, небесная механика и физика элементарных частиц существуют по разным законам, не взаимоисключая друг друга при этом вовсе. Мы, просто в силу самого течения времени, добрались до элементарного, до граничных глубин психического, до той праматерии сна /или детства?/, из которой, по выражению поэта, соткана вся бесконечная реальность яви. Так дитя, девочка-душа, странствует светлым пятнышком яви по потаенным реснитчатым глушобам сна, живущим по своим чудесным /то есть абсурдным/, незыблемым, как детство, объединяющее всех, законам. Так старик однажды обнаруживает себя проснувшимся в этом странном лесу собственного дества, наполненном шелестом, ауканьем, знаками, указаниями. Он сидит под мокрым, расхристанным, как похмельный анархист, кустом, начиная догадываться, начиная зябко понимать, что ничего, кроме сна, тряского дорожного морока, и не было: и злейший ночной враг - только хмурая тень от синеватой елки, а добрый друг - золотая лужица света, процеженного терпкой хвоей. И сон уходит, сворачивается в ничто душным серным облачком, и человек, наконец, остается у себя, дома, в своем бесконечном "дома", и Лес стоит над ним; как родитель. Жизнь, как родитель, стоит над ним, готовым умереть, словно "родиться обратно", если говорить на таинственном всесильном языке детей. Разман ужасается этой мартовской предвечерней открытости, льдистой глубине перехода, распахнутости /перед которой мы, здешние, так беззащитны/ на какую-то другую, угадываемую сторону бытия, что сквозит в монотонных глоссолалиях пани Юлии или в запрокинутой параличной немоте Лурии-старшего. Он не понимает или не хочет понять, что они уже пришли, они проснулись, они дома. Разману не хватает смирения. Или он опять дурачит меня, неумолимо делает игру, блефует, как пугающе-ясноглазый поручик, продавший дьяволу душу за пиковую масть: ведь сказал же он как-то - и не усешка, но вертикальная параболическая морщина от угла губ к вздрогнувшим трепетно крыльям носа - лицо точно треснуло - перечеркнуло мое прекраснодушное резонерство: "Да, да, я вот тоже встретил однажды Рукова, недели всего за две до его кончины - так он как раз выходил из церкви, от всенощной. Задумчивый, тихий, лицо деревянное. Меня нет, не узнал". Словно с деланным равнодушием, якобы невзначай, задел ровно сияющий светильник сознания, и в кач-

нувшись под порывом светового ветра мгновенном саду теней, в дальнем граничном углу его возникла бесформенная, но узнаваемая фигура кровавого шептуна. Это был ход, жесткий и выверенный, как касание рапины. Я испугался - точно поскользнулся. Само нелепое имя это звучит для меня как злобный и отвратительный магический возглас, бессмысленное каббалистическое заклинание: вызов духа, аггела, демона тьмы. Злобного демона памяти. Его лицо, потемневшее, как икона, навязчивой галлюцинацией выплывает из каких-то тусклых углов подсознания, пахнущих стеарином и мышами. Это человек, которого не должно быть. Он не вписывается в живую и трепещущую картину мира, точно абсолютно черный предмет на стеклянном от сентябрьского солнца бульваре. Когда мне было немногим больше двадцати, и громокипящие химические и физиологические процессы ранней юности вдруг утихли, кончились, как выдох, а зрелость еще не вцепилась в горло жесткой рукой опыта, я жил некоторое время только в себе, пустом и никак, словно нейтральная территория. Словно спустившись вниз по ламарковской лесенке, я не думал ни о чем, но просто знал, как растение, моллюск, живая клетка, напоенная светом. Именно в эти месяцы /недели? дни?/ я постиг логику невозможного. Ибо невозможным было все: я сам, встречное лицо, любая данная /кем?/ ситуация - почему именно так, а не иначе? - но эта абсолютная случайность, невозможность всего и свидетельствовала о его причастности к бесконечному, объединяющему, реальности. Осознание собственной невозможности - уже выход за ее пределы, преодоление, уже первый ход в этой универсальной, космической, волшебной, прекрасной игре. Это невозможно, но есть - вот доказательство и оправдание всего сущего, онтодицея. Отточенная почти до безумия формула свободы. Но уже тогда, восторженный и незрячий, как духовидец, я начинал ощущать - словно нащупывать варежкой души где-то за подкладкой бытия другую, отрицательную невозможность - и это тоже было сугубым опытом игры: на каждое светлое поле приходится темное поле. Принципиально иная, омерзительная невозможность - Рукова, следователя Пилипенки, лагерного барака, войны, раковой опухоли: это есть, но это невозможно! Рукову нет места в пятнистом золотом лесу, в безбрежном сне океана, даже в самой промозглой полночи ада ему места нет, потому что само страдание требует человека, а он - дыра. Он гомункулус, который никогда не был ребенком. Вытарщенный эмбрион-перестарок - у него не было детства, и в старость его не пустили; если допустить само существование Рукова, то становится невозможной никакая реальность воссоединения, цельности, мира. Мой только что вновь обретенный дом расплзается, продырявленный руковы-

ми. Я не кричу: "расстрелять!" - как запальчивый монашек, я просто отрицаю очевидное, я отрицаю само его существование и вырезаю это тухловатое лицо на общем снимке сорокалетней давности, но Разман, расчетливый и ничей Разман, бездомный бродяга - ловец змей, всем своим бесстрастным белым лицом наотмашь смеется мне в глаза.

## V

Разман говорит: "Ну, это известная история, кажется, о Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он бабочка. Проснувшись, он никак не мог понять, кому что снилось: ему ли, что он бабочка, бабочке ли, что она - Чжуан Чжоу; и это несмотря на то, что между ним и бабочкой существует явное различие. Именно это, говорит рассказчик, заметь себе, называется превращением вещей - отнюдь не европейский подход, так? Никакой объективности. Чудо есть сугубо внутренний факт. Впрочем, быть может это - от европейской молодости, избытка энергии, щедрости, наконец, - ты замечал, что, порой, истины, на которых восток вытраивал многоярусные зиккураты сложнейших своих философских и метафизических систем, европейцами выговаривались будто случайно, в двух словах, на полях манускрипта. Да вот, наш, российский, европейский /вот именно, самый российский - самый европейский: какая европейская, даже не французская, нет, скорее англосаксонская легкая отточенность стиля - тогда уже открыли алюминий? / Лесков являет в "Запечатленном ангеле" - психологию? нет - технологию? я не знаю, как сказать правильно - чуда. Природу чуда - парадокс, так? Чудо - естественно ли?"

Наш павильон - "наш объект", как секретно говорит Разман - присел, иначе не скажешь, под деревьями маленького парка в пяти минутах ходьбы от моего дома. Парк похож на мгновенный обморок. Рядом денно и ночью исходит нутужным ревом широкий, но перегруженный проспект, задыхающийся в собственных зловещесиневатых испарениях, точно исходящий сладострастной железной истомой дракон, влюбившийся в принцессу. А шаг в сторону - и какая-то просто молочная тишина и вечная сень пожилых деревьев. Днем здесь одни женщины - какая-то античная сказка - беременные женщины, осанкой напоминающие всадниц, женщины с колясками, в которых лежат крошечные женщины со строгими лицами, стеклянноголосые девочки - никогда не видел в парке мальчишек - в школьных фартуках, с пастушьими бичами скакалок - и только старух не бывает в саду. Старухи греются на солнце возле подъездов, точно ящерицы, словно четки перебирая квартирные сплетни,

лузгая их, как глупые мусорные тыквенные семечки. Им лень куда-то идти. Старухи всегда подолгу смотрят мне в спину и обсуждают что-то гортанными механическими голосами глухих людей, громкими, но совершенно непонятными, как говор цыган. Неприятно, когда у старух черные глаза. Каждый раз, проходя мимо лавочек у подъезда, мне хочется крикнуть на них: "А ну, молчите! Я не свой! Я не жених вам!" - такая вот мальчишеская мнительность, а ведь некоторые из них, пожалуй, моложе меня. Но парк, словно аристократ, - потерт и в золоте; все в золотых солнечных проплешинах, будто стирается свиная кожа, а под ней - сокровище. Технология чуда. Весь парк - уголок, клинышек, зеленая подмышка квартала, а на боковой его обманной аллейке - наш объект. Здесь только одна женщина - Зоя, хозяйка заведения, меняла, молчаливая перелестница, с чуть косо приклеенной улыбкой и наследственной бледностью лица; она похожа на усталого, сильно похудевшего Будду. Посетителей, как правило, немного: странные подростки, пугающие почти полным отсутствием мимики, и еще более странные взрослые, "неадекватные", как сказал бы Разман. Обычно в подобных местах назначают встречи с американскими резидентами, если верить авторитетам. Почему-то часто заходят негры, бедно одетые и сосредоточенные. Автоматы сотрясает крупная дрожь, они стреляют, мигают, гремят, издают утробные стоны и отдельные музыкальные фразы; короче, веселятся, как могут, сами по себе. Все это - днем. К вечеру, когда сыроватая темнота заводится по углам, в нишах, в глубине глаз, а проспект утыкается вытянутым каменным рыльцем прямо в глянцево-сентябрьский закат, выходим на работу мы - то я, то Разман, то оба, потому что редко оставляем друг друга без присмотра - мало ли что сочинит он там, в одинокие паузы ночных дежурств. В парке ночью - никого, ни бродяг, ни хулиганов, ни кошек; только изморозь неоновых светов на листьях да ветер с холодными повадками уличного альфонса, решившегося на все. Лишь на дальней его окраине, возле самого кинотеатра, где кафе, начинается после полуночи невнятное брожение теней, тревожно хлопают дверцы такси, проезжает милицейская машина - приторговывают ночным злым вином. Но - деликатность подонков - здесь же не пьют, уносят под полой, расплазуются по своей замкнувшейся мир окраине. У нас совсем тихо, только Разман что-то разошелся сегодня, так и жди подвоха. Над зеленым досчатым павильоном, вросшим в землю, будто на корточках присевшим, надпись - тем веселеньким шрифтом, которым мечена ушедшая эпоха торшеров, абстракционистов, тонконогой мебели и увлечения пластмассами; да и на ее языке, пожалуй: "А т т р а к ц и о н ы".

Писано ядовито праздничной нитроокраской на заскорузлых, волнистых от непогоды фанерных щитах. Но в подсобке уже дожидаются своего часа составленные "домиком" новые плафоны. Пугающе мертвые, подернутые нежной, с жемчужным отливом, шерсткой осенней пыли, словно слепые глаза лягушки, покуда в поле ее зрения не попала движущаяся добычка. Те же одиннадцать букв, готовые вспыхнуть валтасаровой невнятицей, окровавить воронью косматую полночь над нашим игрушечным домиком - будто новая форма предполагает какой-то иной, угрожающий мантический смысл, - да, в общем-то, так оно и есть. В глубине потешного сарайчика замерли, мерцая хромом и сумрачной чернотой стекла, игровые автоматы, уже совсем чужие, как марсианский десант. Одиозная быттехника минувшей переходной эпохи - разномастные мутанты и уродцы: выгаращенные КВНы, наивные рожицы торшеров, кофемолки, картофелечистки и иже присные с ними - сохраняли в своей убудочности хотя бы след человеческих рук. Эти - прекрасная нежить - лишены и тени антропоморфности. Саботаж роботов. Замкнутость совершенства отчуждает их. Новые, не уловимые отсюда, из нашего еще человеческого, дореволюционного измерения, качества основополагают их актуальное существование. Мнится, понятие "спесь" заключено в их технологической схеме. Будущее уже наступило. Игровые автоматы, шеренгами уходящие в раздвинувшуюся темноту павильона, свидетельствуют об этом. Присутствующие, но не нуждающиеся в нас, обретающиеся в новой гордой реальности, юной и неживой, - ничего себе развлеченьица! О чем-то подобном, кажется, говорит Разман.

Разман говорит: "Вопрос терминологии, так? Что, собственно, называть естественным, а что - противоестественным. Скажем, человек: если это явление биологическое, природное, то и вся его продукция вполне естественна, не менее естественна, чем, например, термитники или отложения известняка, а значит всевозможные руссоистско-лудиттские проблемы отпадают сами по себе, как неправомерные. Ешь, пей, веселись, о чем бы там не предупреждали Минздрав и Моисей. Если же, напротив, человек существо внеприродное, вне-мирное, то любые его проявления, конечно же, заведомо неестественны, но в этой заведомости и содержится тот минус, помноженный на минус, в итоге дающий плюс, некоторую естественность высшего порядка, я бы сказал: сверхъестественность. Ведь уж действительно неправомерно подходить к созданию "не от мира" с мерками мира; его противоестественность оказывается естественной, единственно возможной и должной, как чудо. Но отчего же мы так боимся этого технологического чуда, этой апокалиптической чугунки, каинова семени, железной старухи прогресса, а

тянет нас все больше к зверушкам и цветам, чьи имена мы давно забыли, и которые не вспомнят нас, к утраченным связям и корням? Блеф. Это бои с тенью, игра с тенью в поддавки. Прошлое прошло. Прошлого никогда и не было. Мы сочиняем его таким, каким удобно и выгодно нам самим. Это и есть культура. Страх же носит характер невротический. На самом деле мещерский лес не менее чужд нам, чем Мегалополис из сна XXII века. А бояться-то - если уж бояться - следует, пожалуй, не термояда или генной инженерии, но тех едва уловимых, вкрадчивых, как старость, изменений сознания, испепеляющих тысячелетнее прошлое и подвергающих превращению настоящее, так? Пол-беды, если проснувшись по утру, не узнаешь окружающего мира, вот если не узнаешь себя... Тогда, впрочем, и пугаться будет некому; доктрина метемпсихоза, кстати, всегда казалась мне сомнительной и малоутешительной. Суть всякого превращения в преодолении смерти, в преодолении момента смерти. Смерть, собственно, и бывает только моментом, так? - в сумраке плавучем, как легкая осенняя паутина, черная паутина, и лаковые погасшие стекла автоматов - словно черные зеркала, из которых, как из засады, - лицо - мое ли, Размана - не разобрать, потому что очень хочется вглядываться в эту бездонно-плоскую чернь - у Размана зрочки кокаиниста - Некоторые /пауза/ носят со своим "я", как с раскормленным - мучное и сладкое - мало-подвижным ребенком, эдакое директорское дитя в папиной "волге". На их месте я остерегался бы не Эйнштейна и Резерфорда, а Мэри Пикфорд или Мэрлин Монро. Такой киношный термин: "поцелуй в диафрагму" - а ведь в диафрагме, по мнению греков, помещается душа. Ведь ноосфера - это не выжженные леса и озелененные пустыни, отнюдь. Ноосфера - это та незримая сфера сознания, на которой происходит бесконечный процесс творения и спасения собственно человеческого, человеческой - вне-мирной, чудесной,- реальности. Экзцельсиор! - Последнее слово он выкрикивает почти по-петрушечьи и, словно подавившись собственным возгласом, оглядывается на меня. Неоновый свет превратил его лицо в гипсовую маску, но в глазах, как в распахнутой ночной форточке, - выжидающая темнота. Точно он сам притаился в этой темноте, внутри себя, и ждет удобного момента. Мы сидим за столом друг против друга, как игроки в покер.

Разман говорит: "Чжуан-Цзы, китаец, хотел написать роман, в котором была бы описана вся реальность, вся до последней сущности и формы - интересно, у вас в издательстве подписали бы договор на такую вот книжку? Одному, естественно, такая работа не под силу, нужен коллектив авторов, человечество. /Хотя в те благо-словенные китайские времена не было теперешней пропасти - все

культуры, культура, беда с этими культурными - между замыслом и воплощением. "Стрелок, избравший цель, не нуждается в луке", - как сказано в одной древней книге./ Но ведь роман-то пишется, анонимно. Железное деревце прогресса шумит об этом пластиковыми листьями. Взгляни на него с этой точки зрения и увидишь, как неутолимо хочется деревянному лгунишке Пинокио ожить. А ведь когда-то не было этой стеклянной грани между внутри и вне, живым и неживым, реальностью и вымыслом. Золотой век человеческого сознания. В начале было слово. И как убого звучит фаустова поправка - это и есть культура. Но с другой стороны, это ведь всеобщий космический принцип, ритм пульсирующей вселенной. Чтобы обрести дом, нужно сперва его потерять, так. Умереть и воскреснуть. Когда-то культура вышла блудным сыном из храма, но теперь, наевшись свиных рожков, она возвращается. Она сама становится храмом. Может, организуем при фирме "Заря" творческий кооператив "Созидатели Счастья"? Мастерскую реальности? Издательство "Рай"?"

Разман всегда как-то не очень умно подшучивает над моей прошлой издательской деятельностью, хотя сам работал в нашем издательстве линотипистом. Я и устроил его, что требовало определенных усилий, учитывая разманово чересчур пестрое прошлое./ В неоновой трубке над его головой что-то начинает жужжать, точно потрескивает целлулоидными крылышками искусственное насекомое. Я вполслуха продолжаю слушать Размана - нельзя терять контроля над ним - чувствуя подспудное движение ночи. Восприятие вообще иначе работает в эти необъятные - часть больше целого - часы, напоминающие секретный чемодан фокусника, в котором исчезают предметы, ассистенты, он сам, наконец, так и не открыв обещанную разгадку. Ночь похожа на детство.

Разман говорит: "Мы уже не помещаемся в самих себе. Искусство, как создание высшего вымысла, романа обо всем, вышло из кабинетов и галлерей, затопило неошутимым всепроницающим эфиром, световодом, весь темный вещественный мир. Искусство выходит за пределы самого себя. Время превращений. Весь мир превращается в произведение искусства, роман о себе, возносится в сияющее небо вымысла. Техника и наука - только инструменты этого синкретического сверхискусства. "Дух дышит, где хочет," - мы подчас не замечаем его магического присутствия. Мерцающее чудо синемаатографа высветило наше сознание. Экран - как небо, в котором сражаются призрачные армии и любят бесплотные создания. А телевидение, отрада визионера, - как можно жаловаться на него, жалуйтесь на собственное зрение, законы оптики, протяженность пространства, так. Ведь это же бесчисленные русла, ручейки -



от каждого ко всем, сливающиеся в океан единства. Окошки в по-  
длинно человеческую творимую реальность. Но и этого нам мало,  
мы заполним свое незримое духовное небо до пределов бесконеч-  
ности; грядет компьютер. Deus Ex Mahina. Мы вознесемся туда из  
грубого физического тела, в эти ячейки и блоки, в электронные не-  
беса, мы - творцы своего Рая", - Разман вскакивает на ноги, не за-  
метив, что опрокинул табуретку, воздевает с карикатурным вооду-  
шевлением руки, точно марионетка в нашем электрическом бал-  
ганчике, отразившись - кукольная фигурка пророка - в темных зер-  
кала автоматов, тут и там, заполняя собой замкнутое освещенное  
пространство - бледный хоровод разманов - и горланит во всю  
мочь песенку, которой научился у союзников: When the saints goes  
marshin' in. Разман пугает меня. Я понимаю, что нужно немедленно  
что-то предпринять, пресечь этот бьющий через край фонтан пси-  
хической энергии, пока есть еще, что пресекать, к кому апелиро-  
вать. Пока Разман еще Разман, и вскипевшая мгновенно личность  
не вышла за свои прозрачные пределы, превращаясь в безликое и  
неподдающееся контролю, в ситуацию. Всю жизнь я больше всего  
боялся детей, пьяных и уличных сумашедших, эту непредсказуе-  
мую, но одушевленную стихию - именно сочетание иррациональ-  
ного и одушевленного вызывает тот единственно подлинный /ибо  
на на чем реальном, в общем-то, не основанный/ ужас, идущий из  
кишечника и мозга одновременно, пересекаясь где-то под ложеч-  
кой, что называют мистическим. Шуточки козлоногого бога.  
Именно этот единственный настоящий страх - все остальное и не  
страх ведь, но чувство опасности, опасение - не имеет за собой, как  
правило, реальной угрозы /зато уж если имеет, то действительно  
смертельную и неизбежную/. Впрочем, другой наблюдающей част-  
тью сознания я понимаю, что Разманова припадочность вовсе не  
так неуправляема, как кажется, скорее наоборот - выверена и про-  
считана. Зная мое слабое место, он пользуется ею, как припрятан-  
ным козырем. И всякий раз - пугаюсь. Ведь на таких высоких энер-  
гетических уровнях, при такой, выражаясь условно, психической  
температуре границы между игрой и откровением, симуляцией и  
паталогией, проповедью и кликушеством столь зыбки и непрочны,  
что одно может перейти в другое, сорваться в другое с силой сокру-  
шительной и опасной. И я тороплюсь, делаясь неуклюжим - но тут  
уж не до эстетики - словно фехтовальщик, у которого выбили из  
рук рапиру, хватающийся в смертельном испуге за первый попав-  
шийся дрын. Отводя глаза от этого теряющего привычные черты  
лица, точно мелеющего, обнажая неведомое дно, залитое ярким, но  
скудным светом неоновой лампы, язвительно говорю: "Зо шпрах

Разман". Глупо и стыдно, но иногда и нужен бывает лобовой ход, оглобля вместо рапиры, наглость вместо отваги.

Разман умолкает, как от предательского удара. Его лицо, лишенное тени в этом свете, явно не предназначенном для людей, свете морга, операционной, нечеловеческой игротеки, ничего не выражает. Потом: продолжает, как ни в чем ни бывало, но голосом уже спокойным и чуть севшим: "Фашиствующие гуманитарии утверждают, что нет никакого нравственного прогресса. Но разве ноги могут обогнуть туловище, так. Я сочинил трехстишие, хокку, как раз об этом. Слушай же:

Все 15 камней  
сада Реандзи  
видны с вертолета".

Я могу позволить себе расслабиться. Разман ведет себя правильно, но неверно. Он никак не реагирует на мою, в общем-то, дурацкую реплику - что ж, глупость не заслуживает внимания. Но ведь то, чему внимания не уделяют, и есть объект его, пусть сдерживаемого, а не проявленного. В конце концов, естественнее отмахнуться от мухи, чем делать вид, что ее вовсе нет, когда она ползает по кончику носа. Кто еще глупее выглядит - вопрос. В конце концов, именно отсутствия реакции я и добивался, чтобы позволить себе расслабиться.

Я больше не слушаю Размана. Его лицо похоже на гипсовую маску, он и говорит, почти не разжимая губ. как медиум. Но сейчас его речь лишь фон, "белый шум", быть может, невнятное эхо моих собственных мыслей - так прибой, живущий в морской раковине, - лишь отзвук непрерывного тока собственной крови. Мир, как экзотическая океанская раковина. недаром, так часто узнаешь вдруг свои мысли в чужих словах, а личный опыт, как ни странно, оказывается, порой, глубже и шире опыта чисто эмпирического. Разман играет вхолостую. Я то и дело киваю ему, но смотрю при этом чуть в сторону, в дальний угол нашего павильона, чтобы он не увидел моих глаз.

Я научился дремать с открытыми глазами - хотя вряд ли можно назвать это состояние дремой или сном, скорее оно напоминает, должно быть, грезы курильщика опиума. Это уже сугубая практика старости. И опять меня сносит, точно нежной и неумолимой силой ночного отлива, притяжением Луны, в какие-то призрачные пространства зыбкого обмана, что кажется ближе к истине, чем самая трезвая и голая правда дня. Странная игра фантазии: мне представляется вдруг, что я всадник в тяжелых доспехах, неторопливо приближающийся к цели по зеленому полю без границ, поросшему аккуратненькой глянцевою травкой. Я явственно ощущаю мерно

вздвигающиеся бока коня и уверенную тяжесть меча слева у пояса, хотя зрение как-то сужено, и я не могу оглядеться по сторонам. Я знаю, что откуда-то с противоположной стороны ко мне приближается противник, невидимый пока, но уже близкий и неотвратимый - Черный рыцарь. Как ни странно, в этом видении нет ничего детского,пряного, вальтерскоттовского, скорее что-то от точности и серьезной условности игровых автоматов сквозит в этой неполной и однозначной ситуации. Но я спокоен. И вот он возникает в поле моего зрения - на черной лошади, в черных тусклых доспехах - я не могу отчего-то уловить деталей. Мы сближаемся неторопливо, и я узнаю его. Вернее, узнает его Белый Рыцарь, изготовившийся к поединку, - должно быть, по геральдическим цветам или гербу на щите; я же знаю его, безмянного, по законам сна /в котором я и есть Белый Рыцарь/ не сознанием или памятью, но всем своим существом. Глянцевая подстриженная трава зеленеет несоответственно ярко. Я знаю все, что мне должно делать. И когда черная безликая фигура оказывается в зоне досягаемости, я неожиданно легко вытаскиваю из ножен тяжелый обоюдоострый меч с крестообразной рукоятью, перехватываю его двумя руками и, привстав в стременах, заносу над неподвижным врагом. Он даже не пытается защититься - мгновение упущено, и неотвратимый рок победы всецело в моих руках. Клинок, широкий и длинный, отсвечивает холодным блеском, рассекая взвизгнувший воздух. Ладони словно прирастают к рукояти, удобной притягательным и искушающим удобством орудия убийства. Небо синее и ясное, таящее чью-то смерть, - последнее, что я вижу, что видит кто-то во мне.

Что-то переменялось. Освещение? Акустика? Я, стараясь не выказать растеренности, недоумения разбуженного человека, исподволь окидываю взглядом пустой павильон. Неоновая трубка, все так же сухо потрескивая, обдает своим процеженным млечным светом наш угол, и остальная часть помещения точно отступила на шаг, скрываясь в подернутой ночной тенью глубине. Тень ночью особая: днем здесь не светлее, чем сейчас, но это и не темнота, кажется, а так, недостаток зрения. Ночью же тень существенна, словно некое вместилище - или вывернутый наизнанку свет. Но ответ не там, за драным пологом сумрака, он здесь, рядом, близок, как эта вот выщербленная пустая столешница, как мои собственные неподвижные руки на ней. Внезапно я догадываюсь - голос. Изменилась интонация голоса, и это заставило меня услышать слова.

Разман говорит: "Что бы ты ни говорил о моих исканиях, я свято верю в одно: существует общечеловеческое сознание, сверхсознание, в котором нет лжи. Человечество обретает себя. Че-

ловечество становится личностью. Оттуда, из области единства и света мы получаем сигналы. Нам нужен Ангел - Хранитель, что проведет нас долиной мира, так. Каждому ведь знакомы эти корректирующие указания, выше слова и смысла, не обусловленные ничем здешним - только той всеобщей истиной, что пока не вмещается в нас. Иногда это точечные звездчатые вспышки интуиции - не основанной ни на каком собственном опыте, ни на каком опыте вообще, а значит, безусловно, исходящие оттуда, извне мира. Иногда это мучительные подсказки совести - ведь и совесть не имеет никакого отношения к опыту, к социальной морали, напротив, она и заставляет зачастую поступать вопреки ей, против всех во имя себя. Да, да, себя, ибо это есть сугубо личное: не во имя себя, как некоего конкретного имярек, но во имя того высшего Я, которое уже вмещает всех. Личность раскрыта в бесконечное, и, значит, быть личностью - это быть достойным Бога. Я не буду пересказывать тебе Евангелия. Но как мне хочется быть уже там! пожалуй, только святые обладали этим полным сознанием, вмещали его в себя, утрачивая индивидуальность, отдельность, душу, наконец, - ведь это и есть грех, это и есть гордыня. Надо стать никаким и никем, на столпе, в пещере, в пустыне, на дороге в Дамаск, чтобы раскрыться для этого всечеловеческого мифа, который и есть высшая реальность, осуществление: надо уничтожить все границы себя, превратиться - обращение, как превращение, так. Надо стать Словом!"

Впервые за весь вечер, впервые за столько вечеров подряд Разман заговорил так, будто разговаривает с самим собой - но ведь это и есть настоящее признание меня как собеседника. Его речь утратила ту внутреннюю иронию, что жила в ней язвящем болезненным присутствием всегда, что бы он ни говорил. Я не люблю иронии и не доверяю людям ироническим; ирония - ведь это род духовного и психологического компромисса, червоточина предательства. Но сейчас Разман прост, более чем прост, и я, кажется, начинаю понимать его. Этот ток, что возникает между нами, это высокое напряжение, действительно изменившее неуловимо все окружающее, этот контакт - чувство, подобное боли, возникает во мне. Даже лицо его изменилось - может быть, оттого, что я не могу оторвать от него взгляда, как от огня, - оно лишено всякого выражения, но это не ложь маски, отсутствие выражения которой и есть сугубое выражение; оно действительно никакое, словно блик света. Я вспомнил его. Я знаю, что говорит мне Разман, знаю вне самих слов. Любые слова банальны, как Экклезиаст. Правда ведь заключена не в словах, но в том, что он говорит эти слова. В этом суть Евангелия, Благой Вести, и той, единственной, и той, что вся-

кий человек несет другому. Разман! - кричу я беззвучно, словно пароль или боевой клич. Я почти прорвался к нему, к ним, сквозь себя, сквозь него, сквозь наволгшую ветошь мира, но в это мгновение незащитности и свободы холодный и радостный ужас игрока вдруг вспыхивает во мне, точно на последней грани рассыпающегося кристалла: ведь это поражение!

Игра не отпускает меня и теперь. Я не могу, не изменив себе, поддаться даже божественному соблазну. Откуда-то со стороны я слышу свой голос - он кажется чужим сейчас, с какой-то неприятной скрежещущей интонацией - звук несмазанного механизма, старого железа:

"Это и есть твой Бог, Разман?"

"Нет, - говорит Разман, тускнея. - Это только мой человек."

Я испытываю опустошающее чувство торжества - я не попался в его ловушку. Но отчего же кисловатое ощущение обманутости присутствует в нем? Разман тяжело поднимается с табурета, костяшками пальцев упираясь в стол. Я вдруг вижу, насколько он дряхл, несмотря на внешне хорошую форму - может быть, игровые автоматы за его спиной - не лучший фон. Целесообразно-изящные, безгрешные, они подчеркивают нелепость человеческой фигуры. Плоть проигрывает в сравнении с безупречной неживой организацией. "Мне пора", - говорит Разман, словно теряя ко мне интерес, не глядя на меня даже. Неуверенным, слепым движением он натягивает свою кожанку. Ночь заделяет нас. Теперь мне одному коротать эти лишённые примет и определений часы, до самого утра. Ни облегчения, ни тяжести, лишь некоторое томление, невнятное чувство какой-то неправильности, ошибки, в которой некого винить. Разман идет к выходу, забыв обо мне, не то, чтобы я умер, омертвел в его памяти, но будто меня и вовсе никогда не было - мне даже не обидно. Я вижу чужого старика в мятой кепке и потертой кожанке возле дверей. Он уже взялся за ручку - и вдруг повернул ко мне незнакомое лицо со странными глазами, точно проваливающимися сквозь предметы, не удерживаясь на их поверхности, со взглядом, сквозящим пустотой.

"Нет, - говорит Разман. - Жизнь - это не роман, но и не афоризм. Не так-то все просто."

Да ведь это Разман, - вижу и знаю я.

"Жизнь - это заклинание," - говорит Разман.

## VI

"Мне совсем неплохо живется. Они любят меня. Все ведь совсем не так, как представляют те, мокроглазые, с тяжелыми языка-

ми во рту, когда говорят вслед: "Бедняжка" - почти как "шлюха". Им ведь все равно - жалеть или ненавидеть, а я ... Прости. Ты ведь, наверное, их всех любишь?" - святой улыбнулся по-волчьи, странно и тихо /как будто улыбка могла нарушить тишину вечера/, только себе, но тут же улыбка канула в лицо, как в незамутненную воду. Он посмотрел на нее через плечо взглядом без выражения и без памяти, будто хотел стать таким же, как она. Тусклая лампочка светила только над крыльцом, у входа в дом, и ее и без того плоское желтоватое лицо, точно специально, применительно к минуте и речи, распластовали черными ранами ночные раскосые тени, превращая его в изуродованный сгусток отчаяния. Это было неправдой, игрой освещения, но и спокойствие лица было неправдой, и в наложении этих, вскрывающих друг друга неправд сидел на корточках святой, то и дело сплевывая в легкую пыль между босых ступней, да за дувалом неумолчно шумел арык, точно бредил или давал показания, отсчитывал проволочные мгновения сверчок. "Я не "шлюха", - сказала она, - я не страдаю! - ее голос верил себе. - Это мой мир и другого у меня нет, другого у меня просто нет. Я по хозяйству помогаю, тку, я много думаю как раз об этом... да, нет... Я ведь не живу в темноте, я никогда и не видела света. Я у себя, и мне, в общем, ничего не надо, если бы... Мне трудно говорить и, может быть, я зря говорю тебе все это, но ты должен понять, ты ведь такой же," - святой молчал. В мгновенной тишине расцвел бархатистым мокрым цветком шум воды, и смертельно вскрикнула ночная птица. Животные в стойлах постанывали подземными голосами. "Это настолько больше меня... Свет. Ты понимаешь? Мне снятся сны про свет. Если бы я не знала, что он существует, но я знаю, и еще эти сны. У меня нет глаз, иначе я выколола бы себе глаза!" - ее лицо не хранило неподвижности слепых лиц /точно сыроватое довольное тесто/, оно постоянно двигалось, оно шевелилось, как губы глухонемых в тщетной попытке помочь мысли и родить слово. Это не было мимикой, это были жесты, жесты лица, и в своей чрезмерности они казались бы безобразными, если бы столько мольбы и муки не играло в них - так исковерканные уродливые тела страсотерпцев на иконах прекрасны своей выразительностью, божественной и человеческой, как само страдание. Святой молчал, глядя куда-то поверх темноты, и легкая, но отчетливая черточка легла возле губ - презрение ли, жалость, к кому? Где-то у арыка запела лягушка, голосом сдавленным и вертикальным, точно земноводное выводило "аллилуйя!" "Это сводит с ума, понимаешь?.. хотя только для этого я живу. Сны о том, чего никогда не видела, сны о том, что бесконечно больше тебя - за что мне такая мука? за что мне этот дар? Ты же все знаешь, ну ответь мне!" - святой молчал, он сидел так тихо, будто

его вообще не было рядом, будто его вообще не было - и ее последняя надежда тоже была только сном. Но она ощущала само это безмолвие, как присутствие, как тяжесть под сердцем и ожидание, как тишину перед выстрелом. "Увидеть! Стать собой, собой, всем. Но я не могу этого даже здесь, внутри, в мозгу. Только сны, сны о чем-то большем. Это, наверное, как ваш Рай. Ты веришь в Бога?" - святой издал короткий звук, звук заики или человека, чью речь оборвали несильным ударом в солнечное сплетение. То ли смешок, то ли выдох. Сверчок стругал серебрянную стружку. "Верю," - сказал святой. "Помоги!" - сказала она с необъяснимой, жалкой и оттого страшной угрозой. Ее плоское лицо с нечистой кожей и красными веками сальными прядями полукровки, спадавшими на грудь и придававшими ему выражение скрытой ярости, с незрячими глазами, ошупывающими каждый звук, вдруг начало наполняться выражением, точно поднимающимся из глубины, как из осклизлой глубины колодца. Недобрая театральная игра светотени и собственное выражение лица девушки совпали, оно действительно превратилось в набухший сгусток боли, готовый взорваться, готовый прорваться чем-то уже нечеловеческим. Святой искоса взглянул на нее и отвел глаза. Легчайшая тень скуки легла на его лицо, чуть усталое - и больше, пожалуй, никакое: словно ему наскучило милосердие. "Помоги мне, ты ведь все можешь! Для тебя это ничто. Помоги - я никогда не буду благодарить тебя, я забуду тебя, толькопусти меня туда. Не дальше, не к себе, а только туда, где все. Ты же святой, это твое дело, не думай, я не дура, я знаю, на что иду! Дай мне мой сон!" - она сидела, привалившись к стене амбара, широко расставив колени, откинув голову в косом и бесплотном дожде теней, удлинняющем предметы; она готова была кричать, и святой осторожно взял ее за руку. Она тут же умолкла, но вцепилась в руку потной ладонью, точно боясь, что это действительно сон, приняв эту кроткую ласку за обетование, не веря, не видя и не смея. Она схватила его за руку с дерзновением, неожиданной мысли, что всегда кажется единственной и спасительной в этот момент, и, подпернув платье, положила ее себе высоко на ляжку, потом зажала между ног, стискивая изо всех сил, шепча чужим голосом - если бы незряч был святой, он бы не узнал этого светлеющего в душной тьме голоса: "Я ведь живая! Я теплая, чувствуешь? Я живая! Ты можешь все, не оставляй меня! Не оставляй меня!" - святой мягко высвободился и коснулся ее руки. На мгновение, на какое-то оторванное мгновение между светом и тенью, в пустом дворике, проглоченном ночью, он неуловимо переменялся - у него был взгляд преданного и смертельно больного пса. В следующую секунду кто-то вышел из дома, громыхнув корытом у крыльца и ругнувшись по-местному, - не

разобрать против лампы - то ли отец, то ли брат - и святой бесшумно поднялся на ноги. Спросонок кашлянула собака, коротко звякнув цепью. "Я сделаю это, - сказал святой. - Как рассвет - у оврага, за мазаром, знаешь. Иди. Спи спокойно."

Святой передвигался по двору бесшумно, как вор. Большая темнота обступила его. Она казалась каким-то безликим внимательным существом. Пыль под ногами была мягкой и теплой, нежно забивалась между пальцами. Ноги находили дорогу. Ночь скрывала лицо. В дальнем углу двора возле пустого загона для скота святой остановился, и воцарившаяся тишина мгновенно налилась его присутствием, сделалась насыщенной, как сигнал. В соломе завозился спросонок и грузно сел ученик, высветив темноту бледным пятном своего одутловатого растерянного лица и грязноватым полотном белой рубахи. Он часто моргал со сна припухшими веками, слепо и ищуще выгнув лицо к святому. Сквозь опрокинутое беспмятство в нем трафаретным рисунком прочертилось выражение преданности и готовности, хотя он еще ничего не видел и не слышал, точно новорожденный - только присутствие хозяина. Но и это уже переполняло его. "Завтра," - сказал святой, не дожидаясь, пока ученик придет в себя. Тот кивнул несколько раз кряду, даже костяные бусы на его шее издали сухой, но журчащий звук. Святой, чуть прищурясь, посмотрел на него, рассеянно и пристально одновременно. Ученик был толст, курчавые волосы и торчащая в разные стороны борода придавали ему вид неумытого восточного лукавства. Он взглянул на святого снизу. У него были умные глаза. "Приправу," - сухо сказал святой, отворачиваясь. Ученик то ли присвистнул, то ли просто силпо коротко вздохнул. Где-то совсем рядом зашуршали соломой невидимые мыши. Ученик сделал странное неуверенное движение рукой, будто у него чесалась спина или захотелось выхватить что-то из воздуха, потом вновь осторожно поднял глаза. Святого не было.

Утро было холодным и трезвым, как прикосновение хирургического инструмента. Войлочное, негреющее пока солнце зависло над цепочкой дымчатых гор перед крутым восхождением в высокий пустой зенит. Сумерки еще клубились по углам, в клетях, в кустарнике и низкой траве долины, точно всасываемые куда-то в поры земли, но пространство уже распахнулось для зрения и слуха, обнаженное и настороженное. Святой стоял у дувала, при свете утра неприметный, с невзрачным, бледным от бессонницы лицом и покрасневшими глазами, в черных рабочих штанах и не защищающем от рассветного стеклистого ветерка легком сером пиджаке поверх полотняной рубахи. Звуки стали резче и внятней, но утратили ночную гулкость, двусмысленный отзвук, будто сделались плоски-



ми, потеряли объем тени и эха. Из селения уже доносился ясный металлический звон и жестяной перезвон, животные приглушенно вскрикивали и топтали сухую землю; потянуло чадким ползучим запахом пригоревшего масла - пекли лепешки. Во двор со стороны дороги быстро вошел ученик, с видом озабоченным и смущенным. Он подошел прямо к святому и, не поднимая на него глаз, протянул тугой тряпичный сверток. Подрагивание опущенных век выдавало скрываемое возбуждение, казалось, ученик сдерживается, чтобы не облизнуться. Принимая сверток, святой улыбнулся неожиданно мягко, так больной, порой, улывается здоровому гостю, чувствуя его неловкость и стыд за свое неуместное здоровье. Ученик кивнул, так же пряча глаза, но, уже поворачиваясь, не выдержал, кинул на святого короткий, нежный, благодарный и какой-то жадный взгляд. Но тут же пошел прочь, даже в сутулой спине его выразилось внутреннее напряжение, от которого он казался ниже и толще. Он торопливо скрылся за углом дома, никем не увиденный, прычущийся. Святой смотрел прямо на солнце.

Спустя недолгий промежуток времени - солнце переместилось чуть выше, и холодный воздух начал прогреваться, хотя был еще ясным, не наполнился слюдяным мерцанием дневного жара - святой широким и легким шагом спустился с овечьей тропы к оврагу, миновав старый безымянный мазар, напоминающий дот, в котором затаился мертвец. У самого обрыва уже сидела, поджав колени, девушка в светлом платье с фиолетовыми цветами, дешевом, но праздничном; лицо ее казалось умытым теплой водой, успокоенным, пальцы же лежащих на коленях рук шевелились непрерывно, точно она перебирала пряжу, сквозь светлое спокойствие проступала ночь. Точно сочилась из-под век. Поодаль, возле вывороченного неведомой силой из земли валуна, зависшего накренась, как порченый зуб в десне, сидел по-японски ученик. Он уже не мог скрывать возбуждения, бородатое лицо было точно воспалено им, и неподвижность только подчеркивала эту замкнутую энергию, расправившую рыхлую плоть. Святой подошел к девушке так, что даже она не услышала, но тотчас почувствовала его присутствие, подняла лицо, повела им, не зная, в какой стороне он стоит, - досада, радость, страх одновременно отразились в нем, искажая черты таким несовместимым сочетанием, отчего лицо приняло почти злое выражение. "Я здесь, - произнес святой, присаживаясь рядом с девушкой на корточках. - Жди." Он положил ей руку на плечо и почувствовал, что ее бьет крупная дрожь, почти судорога, еще более яростная оттого, что девушка пытается ее скрыть, удержать в себе, загнать вглубь. Святой, не двигаясь, поддержал руку на ее плече, сосредоточенно, но, кажется, думая о чем-то своем, пока девушка на

расслабилась. Плечо заметно потеплело. Тогда он отнял ладонь и искал взглядом по земле. Почва была сухой и твердой, в редкой белесой траве, не знающей влаги. Святой чуть поморщился, но потом сложил ладонь корабликом, а другой поскреб по сухой земле, собирая пригоршню легкой пыли. Девушка прислушивалась к нему, забыв о лице, оно сделалось светлым и пустым, как у мертвого. В стороне, за их спинами, ученик, казалось, неслышно кричал и неподвижно приплясывал. Святой сплюнул в ладонь, и указательным пальцем растер увлажнившуюся пыль. Солнце уже начало свою дневную работу, и, когда святой встал перед девушкой на колени, заслоняя его, и тень легла ей на лицо, она почувствовала это. Она напряглась и застыла. Святой осторожно и аккуратно, приблизившись к ней почти вплотную, провел по ее векам измазанным пальцем - несколько мелких крошек, отвалившись, упали на подол платья. Девушка почувствовала его дыхание на своем лице, такое же легкое, как тень. Святой поднялся и приказал голосом без выражения и интонации - так мог бы говорить камень, или воздух, или свет: "Встань на колени." Она послушалась. Святой выпрямился за ее спиной, с рассеянным интересом глядя на то, что открылось перед ним. Овраг с каменистым галечным дном, уходящий к горам, был глубок, выбелен солнцем и гол. Только на противоположном - более пологом - склоне рос кое-где тамариск и сухие кустики "драконовых лапок". За оврагом, постепенно сужаясь к предгорьям, вытянулась долина, пустая, поросшая мелкой недоразвитой жестяной травкой, вечно жаждущей и гибнущей, тут и там рассеченная руслами исчезнувших рек и такими же мертвыми оврагами. Трава не давала тени даже насекомым. Где-то между рытвин и россыпей камня изредка свистели суслики. Горы, такие манящие и пугающие в ледяном зеленоватом огне вечера, догоревшего заката, сейчас, в ужесточившемся уже свете дня были серыми, безвидными и нелепыми. Воздух над камнем начал дрожать и дробиться. Солнце залило все белесое небо. Девушка стояла на коленях с неподвижностью вещи, странной живой вещи. Святой наклонился к ней: "Постарайся ни о чем не думать, - и был только бледный его шепот в пустоте. - Не молись. Не проси ничего." Некрупная ящерица тенью сверкнула по лысым камням на склоне оврага. Святой молчал. Он не приказывал, не учил больше, не прощался, не плакал. Она осталась одна. Она медленно, без страха подняла веки. В эту секунду стоящий за ее спиной святой стремительным, но вместе с тем неторопливым движением выхватит из-за спины, из-за пояса под пиджаком то, что он называл "приправой", мрачную игрушку, тускло блеснувшую на солнце чернью, и выстрелил ей в затылок. Кажется, крикнул ученик. Выстрел прозвучал в прокалившемся возду-

хе как-то бедно, канул в безмолвном дрожании и вибрации света, и разве что звук падения тела, ткнувшегося лицом в сухой песок, мог бы показаться трагическим, но кроме святого его никто не услышал.

Они волоком стащили труп в овраг - он казался непомерно тяжелым, словно мертвое с тупой ненавистью сопротивлялось усилиям еще живых - и закидали его сухими ветками. Они валялись тут и там по всему галечному дну оврага, колючие и острые, исполненные той же загаенной и мстительной злобы; ученик прорезал палец, собирая сучья, и слишком долго с недоумением смотрел на кровь, проступившую алой бисерной ниткой из неправдоподобно ровной ранки. Наверное, он ощущал то же самое: враждебность к нему, живому, предметов, которые тоже некогда были живыми - будто почувствовал на себе чей-то взгляд. Святой окликнул его. Им надо уже было торопиться. Сучьев было мало, они ничего не скрывали, да, казалось, святой с учеником и не пытались ничего спрятать - скорее лишь прикрыть наготу смерти. Под растущей кучей сухих ломких веток даже слишком явно виднелось пугающее нечто, ученик часто оглядывался на это с опасливым любопытством, но святой просто работал - так же он носил воду или корм скоту, помогая хозяину, с отвлеченным безразличием раба из далекой страны, где говорят на чужом языке. Солнце палило жестоко, безжалостно вытравляя всякую тень, точно обдирая ее с предметов и тел. Ученик не успевал даже вспотеть. Каменистые склоны оврага поблескивали в этом карающем жаре, его и светом нельзя уже было назвать - он пожирал зрение.

Они закончили свое дело и двинулись по высохшему руслу в сторону ближайших гор, загроздивших перспективу. Галька звякала под ногами - лишенный глубины обрывающийся звон, звон, превращающийся в стук. Голый мир без тени и эха. Казалось, камни, стучаясь друг о друга, высекают сухие безвидные искры. Идти было трудно, но святой не утратил своей легкости, хотя заметно устал. Ученик совсем выбился из сил, стал еще бесформенней; но он не замечал усталости, торопливо поспевая за святым, будто внутри его родилась какая-то новая сила, не имеющая отношения к грузной задыхающейся плоти, измученной солнцем и камнем. Она жила во взгляде его сияющих черных глаз, когда он с каким-то темным опасным восторгом смотрел в напряженную от ходьбы спину святого или порой догонял его, чтобы искоса заглянуть в лицо, открытое и пустое, слишком открытое, как обнаженная грудь или ладонь. Так они шли в серебристом зное, под жестким прямым излучением нечеловеческого полдня, внутри мира.

Спустя час или полтора они добрались до крутого, поросшего кое-где редкой бурой травой и безлистным косматым кустарником склона, и молча передохнув несколько минут, полезли вверх. Карбачкаться по нему было невероятно трудно, казалось, вообще выше их сил, - несколько раз то святой, то ученик съезжали вниз по предательской сыпучей пересушенной пыли - но все же гора была живой, и они то и дело припадали к ней в изнеможении, и вновь ползли вверх. Наконец, они выбрались на дорогу, серпантинном поднимающуюся к перевалу, и долго лежали, распластавшись в горячей пыли, оба лицом вниз, чтобы не видеть бесцветного неба над собой.

Где-то вглубине, внизу, родился некрупный, но густой и отчетливый звук - воздух был настолько прокален, что звук проникнул его почти мгновенно. Святой легко поднялся на ноги и помог встать ученику. Они отряхнулись, насколько это было возможно, пыль размазалась по лицам, впитываясь в кожу, но здесь, на чадной горной дороге, в сером мерцании и блеске, это никому не бросилось бы в глаза. Гул, еще далекий пока, постепенно приближался. "Идем же - сказал святой и улыбнулся. Ученик судорожно дернул кадыком и мотнул головой. Потом тихо рассмеялся, опустив косматую голову. Святой как-то очень осторожно тронул его за плечо и пошел вперед.

На очередном повороте серпантина их обгнал, наконец, армейский автобус - за перевалом располагалась военная база и аэродром. К заднему стеклу машины прилипло на мгновение плоское лицо - солдат, из местных, что-то беззвучно кричал им и смеялся порченным ртом. Ученик беззлобно мехнул на него рукой. Автобус, ревя, почти срываясь на натужный свист, скрылся за выступом ноздреватой порыжелой скалы, и почти сразу из облака неосевшей пыли навстречу им вышли летчики. Их было человек шесть или восемь, почти все молодые, без кителей, в одних рубашках с распущенными галстуками, они шли, пересмеиваясь и окликая друг друга, похожие на школьников, удравших с уроков. Двое, еще моложе остальных, дурачась, гнали перед собой пустую банку из-под тушенки, перепасовываясь, отнимали ее друг у друга.

А теперь закрой тетрадь и положи ее на место," - прочитал я, перевернув страницу. Павильон был пуст, как бывают пусты только нежилые помещения - я чувствовал себя так, будто оказался здесь совершенно случайно. Я стоял посреди зала, возле Зоиной конторки с размановой тетрадью в руках, смятенный и одинокий, словно отъединенный ото всего вообще, одинокий весь - это звучит неграмотно, но точно. Поперхнувшийся одиночеством. И дело вовсе не в том, что Разман поймал меня за руку, - я медленно опустил толстую тетрадь в выдвинутый ящик конторки, где и обнаружил ее.

Нет, эта мелкая месть - удачный и обидный, но и только, ход. Меня ошеломило, будто опрокинуло куда-то внутрь самого себя, лишив опоры, само существование этого текста. Неважно, плох он или хорош с объективной точки зрения, важно то, что он явился правдой. Словно это и было родом того сверхискусства, выходящего за собственные пределы, о котором говорил Разман. Словно магический акт. Все смешалось и перепуталось в моей тщательно выстроенной схеме не только наших с Разманом отношений, но моих отношений с миром вообще. Точно моя версия жизни оказалась вдруг ложной - улика передо мной. Роман-превращение. Но я не сдамся так запросто, Разман! - хочется выкрикнуть мне, словно он прячется в этой пустоватой темноте и тишине, насмешник, в черных зеркалах игровых автоматов, в моих собственных бледных отражениях, растасованных ими. Твой роман существует, но ведь и я есть, меня не вычеркнешь, как пометку в черновике, не побьешь никакой крапленой картой - где же ты, Разман? Мой беззвучный мозговой крик звучит довольно жалко и отчаянно, я отдаю себе в этом отчет, но всегда присутствующий некто, аналитик, просчитывает и само отчаяние, взвешивает его перспективность, как составляющую моей игры против Размана.

Мне вдруг кажется, что я не один здесь - может быть Разман все же решил разделить со мной это дежурство? - я оглядываюсь на дверь за своей спиной, отчего-то слишком медленно и неуверенно. Размана нет.





Сергей ТАШЕВСКИЙ

## СЦЕНЫ ИЗ БАЛЕТА

*... Там есть один мотив...  
Я все отвержу его, когда я счастлив...*

Пушкин,

"Моцарт и Сальери", II.

...Но радости от маленьких побед,  
Которые другим - как вдох и выдох,  
Униженно оттачивают зренье  
И заставляют наполнять бумагу  
Неясным шумом...  
Что-то вроде жизни,  
А память перебесится сама.

Когда притрагиваешься к ладони,  
Когда касаешься совсем чуть-чуть  
Губами губ,  
Верней - когда меж ними  
Последние, смешные расстоянья  
/ Не больше толщины листа бумаги /,  
Все чувства вдруг на цыпочки встают.  
А музыки достаточно повсюду -  
И все равно, какие города,  
Какие женщины нас заставляют  
Стоять, как балерину на пуантах  
В прекрасном равновесии своем!

Всего лишь миг, всего лишь пол-мгновенья,  
Но что есть миг, когда и год и месяц  
Спокойно забываешь - но не это.

Мне говорили, будто наше время -  
Придуманное время, и часы  
Лишь делят неделимое на части  
И создают удобное течение,  
Подобное теченьям в океане...  
Наверное, и правда это так,

И, значит, не о чем жалеть сегодня.



Но, подчиняясь палочке искусной,  
Что движется уже который век  
По кругу из 12 делений,  
Опять впадаешь в горе и гордыню,  
Опять считаешь золотой песок.

Вот - майский день, заброшенная стройка,  
Я по трубе иду над котлованом,  
Раскинув руки, мне 12 лет,  
Весенний воздух полон равновесья  
И непривычны запахи земли.  
Уже открыты окна в ближнем доме,  
Не форточки - а окна, так внезапно  
Пришла весна, что жалко каждый выдох...  
Но я иду и не смотрю на окна.

Одно окно я знаю целый месяц,  
За ним живет... А, впрочем, что за дело?  
Она меня не знает, я не знаю  
Ее, к тому ж смотреть в чужие окна  
Нехорошо, хотя и интересно -  
И пусть она красивая такая,  
Но у нее свои дела и школа,  
Мы все равно не встретимся ни разу,  
А если даже встретимся - что толку,  
Я не сумею с ней заговорить...

И я иду, и не смотрю на окна,  
Но чувствую - какой-то теплый блеск  
Слепит глаза, щекочет нежно губы:  
Обычный зайчик солнечный.

Обычный!

Я поднимаю голову и вижу:  
Она стоит в окне с осколком света,  
Свет бьётся мотыльком в ее ладони,  
Распущенные волосы светлы,  
Мы замираем, смотрим друг на друга  
И долго улыбаемся друг другу,  
Как будто мы знакомы много лет...

Ну, что еще? Ну, скажем, мне - 17.  
Вот - майский день, гудящий перекресток,  
И я стою у касс кинотеатра

С двумя билетами на поздний вечер.  
/Еще одно слепое приближенье  
К запасу чувств, отпущенных природой:  
Уже известны правила игры,  
И каждый шаг волшебно совпадает  
С бумажными следами из романов,  
Но два билета, два клочка бумаги -  
Страница жизни на моей ладони./  
А воздух пахнет небом и полуднем,  
А звуки рассыпаются по лицам  
Прохожих, по гудкам автомобилей...  
И вдруг я слышу собственное имя,  
И поднимаю голову, и вижу:  
Она бежит ко мне через дорогу,  
Она светлей и легче всех на свете,  
Она...  
А я бросаюсь ей навстречу,  
Но успеваю сделать лишь движенье -  
И вот она стоит передо мной.

Как если бы поймали равновесье,  
Мы замираем.  
Смотрим друг на друга.  
И долго улыбаемся друг другу...  
И мне светло,  
И я ее люблю.

А что еще? Ну, скажем, майский полдень,  
Безоблачное небо над Невою,  
И воздух пахнет водяною пылью...

А впрочем, все и так уже понятно.  
Я ничего о времени не знаю,  
Не смею обсуждать его течение,  
Не стану охранять его покой.  
Но жизнь не измеряется часами,  
Годами, юбилеями, делами,  
А, разве что, каким-то чутким мигом,  
Одним несметным, множественным мигом,  
Когда шесть чувств на цыпочки встают!  
Но музыки достаточно повсюду.  
И все равно, какие времена,  
Какие женщины нас заставляют

Вставать, как балерину на пуанты,  
В счастливом рав-но-весии земном...

\* \* \*

Сколько песен прослушано,  
Сколько слез о луне!  
Не душа, а отдушина  
Бьется в каждом окне.  
Даже песни о небе  
В эту сытую лесь  
Стали песней о хлебе  
Для умеющих есть.  
Если "ночью не спится" -  
Как уютно зови  
Ремесло очевидца,  
Летопись на крови.  
Ненавидь, если хочешь,  
Если хочешь - люби  
Что кричишь, что бормочешь,  
Чем пыгаешься быть.  
Но ни слов, ни предтечи,  
Только мир твой и жив -  
Мир, где нету и речи  
О правде и лжи,  
Вся неделя творения,  
Весь полет надо всем,  
Чтоб дыханье и зрение  
Не делилось на семь.

\* \* \*

Все-то свалили мы на эпоху,  
Кашу сварили в ее котле.  
Тянемся к небу когда нам плохо,  
Когда хорошо - стоим на земле  
И рассуждаем о ней, икая,  
И затеваем дурацкий спор...  
А эпоха за окнами - никакая,  
Твоя и моя, вот и весь разговор.

\* \* \*

Развести руками - как красива!  
Перебор, стакато, перебой...  
Сколько лет она тебя просила  
Развести руками над собой!  
Руки сбиты от избитых истин,  
Ведь на первый зов ее святой  
Ты хватал то камеру, то кисти,  
Чтобы что-то делать с красотой.

\* \* \*

Ворохом строчек газетных падает снег.  
Белая ретушь на черном ноябрьском бульваре,  
Шепот для глаз.  
На этом холодном шаре  
Жизнь невозможна - и невозможен побег.

В комнате памяти тусклая свечка горит.  
Холод и темнота не дают ни слова  
Сказать снежинкам, кружащимся бестолково.  
Общая вьюга ложится на черный гранит.

Ах, как ей, ступая над нами, легко бубнить  
Про тысячи тысяч судеб!  
А я, засыпая, .  
Лишь имена повторяю, чтоб не забыть,  
И все равно забываю их, забываю...

Видимо, так и рассыпемся горсткой ненужных слов.  
Смотри, сколько снега летит безымянного. Полночь.  
Я только одну снежинку могу запомнить,  
Ту, что случайно на плечо ко мне занесло.

Мы с ней пройдем по бульвару пару шагов,  
И все.  
Достаточно только сказать об этом -  
Она испарится, словом моим согретая...  
О, вьюга! Все так.  
Но в этой стране снегов

Я вырываю людей из тебя, подношу к губам,  
Зная, что так они умирают быстрее,  
Произносимые, отданные словам...  
Все больше слов... И - тишина все яснее.  
Яснее...  
Да что тут можно еще сказать?  
Город завернут в холодную мешковину.  
Выйти за двери и вьюге подставить спину -  
Вот, может быть, последняя благодать.

\* , \* \*

Я не знаю про свободу  
Ничего, я - налегке.  
Брошу слово льдинкой в воду -  
Встанет лед по всей реке,  
Страх поставлю за спиною,  
Сяду глаз на глаз с Виной,  
Молния передо мною  
Разожжет костер земной.

Как-то так и происходит:  
То другое, то одно...  
Глаз Вина с меня не сводит -  
Видно, так заведено,  
И спины худа ограда,  
Страх - он Страх во все века...  
Но они стоят как надо,  
Но они сидят как надо,  
И душа моя легка.

**"АТТРАКЦИОНЫ"**

П О В Е С Т Ъ

## VII

Я проснулся с явным до рефлекторного сокращения мышц ощущением, будто меня окликнули. Именно: не оклик послышался мне, но лишь ощущение немого призыва беззвучно лопнувшей струной возникло во мне /внутри, даже не в сознании, но глубже, где-то в тугом сплетении нервов, в темноте спящего тела/ в момент внезапного, как удар, пробуждения. Меня точно с мясом вырвало из застойных глубин сна и швырнуло в запрокинутое, светлое от простынь и высоких стен утро. И хотя казалось, что оклик живет - уже за гранью слуха /но, быть может, еще в пределах осязания?/ в настоянном на белом и легком свете воздухе комнаты, гаснет, всасываемый воронкой тишины - беспамятства, времени, - но не менее явно я понимал уже, что все это только обман чувств, их путаница спросонок, никакого оклика не было, меня никто не звал. Но отчего же я лежал, точно поверженный, сраженный этим внезапным пробуждением в своей чистой и чужой постели, так и не прогретой за ночь моим также несколько уже чужим, затекшим телом - все постепенно становится чужим, а свое уходит куда-то вглубь, в сон, освобождая место беспредельно увеличивающемуся пространству мира - и необъяснимая досада, чувство обманутости медленно и неуклонно, как тошнота, оживало во мне. Будто сделал уверенный шаг вперед, но, не найдя привычной опоры, споткнулся - не провалился в протяжную пустоту, не рухнул с театральной и смертельной неотвратимостью оземь, нет, нелепо и стыдно споткнулся, самоуверенный подслеповатый старик, сунувшийся в президиум. Будто дернулся навстречу зову - мышцы еще не остыли - с библейской готовностью: "Вот я!", а зова никакого и не было, тебя никто не звал, ты застрял в себе самом, переиграл сам себя. В этом было не только что-то унизительное. В этом было нечто принципиально ставящее под сомнение все мое мирознание, мое знание и стиль, причем нагло и насильственно, как хулиганский удар "под дых", на том уровне, на котором ответить нечего. Некому. Словно сделал очередной ход и вдруг обнаружил, что нет не только противника, нет доски, фигур, ничего. Словно меня проучила эта пожирающая пустота - беспамятство, время. Конечно, может показаться странным, что такой почти физиологический пустяк столь сильно по-

действовал на меня, но ведь я не раз уже отмечал, что некоторые явления, такие отдельные и произвольные для постороннего взгляда, теперь приобретают для меня неоспоримый /ибо ни на чем, в общем-то, не основанный/ статус знака, наполняются невыговоренным значением символа и указания извне. Впрочем, я лишь теперь, спустя довольно долгий промежуток времени /теперь уже не определить, какой именно/ становлюсь неубедительно многословным; тогда же я распластанно лежал на кровати, чувствуя поистине юношескую бессильную досаду и раздражение, вибрирующим эхом шевелящиеся во мне, полон и обманутом. К тому же, пробуждение, при всей его утрированной конкретности и резкости /резкости оплеухи, что уж там/, вовсе не было феноменом физиологическим. В свете вышеизложенного - в стальном, но уклончивом ясном свете сентябрьского белого утра, вторгнувшемся разделяющей хирургической плоскостью в темноватую мякоть сна, самые простые явления и вещи обретают двусмысленность, более - бесформенную многосмысленность, словно снабжение магической приставочкой транс-, или пара-, или мета-; точно это низовой лукавый ответ сумерек, а не прямой свет утра. Будто тайна, разлитая в остывающем спящем мире, - в мире спящего - отступает вглубь предметов и явлений, концентрируется, и каждая вещь - прицельный выстрел в мозг. Чем ярче полдень, тем концентрация больше, тайна невыносимей. Такова двойственность света. Или такова природа таинственного - как угодно. Резкость кабацкой оплеухи и резкость пощечины, означающей вызов на смерть, - две качественно разные вещи, хотя обе - одно короткое движение ладони. Именно ощущение и осознание этой разницы заставляет меня не останавливаться на собственно физиологическом. На жалких и трагических примерах старости: сердце, вспыхивающем в груди, отекающих сырых ногах, унижительных процессах чрева и едкой отрыжке, на протяжной, как звук, как фальшивый аккорд расстроенного фортепьяно, боли в суставах, на измятых ночах бессонниц - список можно множить, откуда перестанешь узнавать собственный голос. Впрочем, так оно и происходит. Я научился - скорее же это произошло вовсе без какого-то личностного волевого импульса; я пришел к этому - не отождествлять себя со своим слабеющим телом, предельно абстрагироваться в периоды физического страдания, словно наблюдая его извне, через бесстрастную линзу отрешенного взгляда. Это отнюдь не избавляет от собственно страдания, большая разрушающаяся плоть остается, тяжким бременем, но в мгlistом сумраке стареющего сознания вычерчивается огнистый и неуловимый, как бегучая вспышка на сетчатке глаза, абрис души, неизменной, вершащей свое поступательное движение. Это, пожалуй, и есть

момент обретения своего я. Смерть и рождение оказываются даже не близнецами, но единым актом, осуществляющим константу вечного в безжалостном потоке временного. Миг за мигом. Как-то, во время очередной беседы с Разманом, точнее во время его вкрадчивого усыпляющего монолога, я незаметно для себя задремал, оказался на грани сна и яви, в той области озарений и обманов, что всегда пугала и привлекала меня, как невнятная глубина детства или старости. И в это парадоксальное вневременное мгновение ко мне пришло - даже не на грани зрительного образа, на грани целого комплекса ощущений, на грани превращения - очень сильное и явственное переживание, переживание-знание, которое при всей своей конкретности сновидения, сенсорного символа было и конкретно-вербальным, точно сам комплекс ощущений был фразой, сказанной беззвучным голосом: "душа - это орел, парящий в поисках добычи". В следующую секунду парение было прервано жестким уколом смысла, Разман заговорил-таки меня, отвлек, опутал своей липкой сетью и, видя мою беззащитность, выпростал ядовитое жало /я никогда не верил во все эти хиромантии и астрологии, но тем не менее, Разман, согласно гороскопу, - скорпион/. Не помню, в чем заключалось его язвительное замечание, важно, что я очнулся и ощутил пресный привкус разочарования: то, что во сне казалось непреложным и неуничтожимым, как свет, выглядело наяву пустой и безвкусно-красивой банальностью. Но позже, в полые часы бессонницы, одышки и бесплодной, точно движение маятника, работы ума, когда в слепой тишине я слышу, как медленно опускают мои большие, белые, в завитках седых волос, ноги, это знание вернулось ко мне ощущением невесомой и сильной крылатости духа, ночным освобождением от диктата рыхлой старой плоти, всезаполняющим предчувствием победы. Все эти мелкие внутренние открытия старости могут показаться довольно наивным самоутешением, пожалуй, самообольщением даже, но ведь иллюзия, действительно помогающая существовать во времени, уже нечто несколько большее, чем иллюзия - к поднятому Разманом вопросу о сверхреальности, реальности чуда. Вот и в то уже неизмеримо далекое, хотя и недавнее еще утро этого поистине странного дня /теперь же не определить достоверно, кончился ли он, и, если кончился, то что пришло ему на смену, или продолжается по сей час, взламывая привычные цикличность и ритм; безграничный день, день-превращение/ я лежал разбитый, привычно недомогающий, но сознание, трезвое и ясное, как предметное стекло, работало само по себе, взвешивая и оценивая ситуацию. Вот только раздражение едкой щелочью разъедало его, путало, застило взор бессильной влагой. Я поддался ему, как поддаются мелкой боли в гноящейся ранке, с са-



модовольным по сути своей чувством сладковатой досады. Неоправданное - потому что ведь некого было оправдывать или винить - оно заставило меня обмануть самого себя, уверив, что я обманут. Я ждал знака и проглядел его, потому что ждешь только то, что ждешь - инерция загнала меня в пустоту и отчаяние; в грозном и немом пробуждении я не прочувствовал того величественного решающего хода, к которому я и мой соперник причастны уже постольку поскольку. Постольку поскольку он приоткрывает тайну Игры. Я лежал на своей постели, словно рыба, выброшенная на берег; точно я не проснулся, но, напротив, выпал в какой-то сияющий сон. Явь была столь резкой, что возникало чувство отстраненности. Как будто я проснулся слишком внезапно, и реальность не успела повернуться ко мне лицом. Сперва я даже не узнал своей комнаты. С комнатой, впрочем, последнее время, вообще происходят вещи удивительные. Я бы сказал, что она стала странно себя вести - словно в поглощающем движении времени, захватившем меня /или это я в своем движении старости захватил и неуклонно тащу за собой весь этот гармонически-взорванный мир, туда, к невидимой, ужасной и притягательной цели?/ сместилась какая-то грань, и психическое вышло за свои четко очерченные пределы, затопило и пропитало сырую материальность окружающего. Жилище оживило - поневоле поверишь в улыбочное присутствие лар, проказливых гремлинов, орудующих в кухне, или, на худой конец, наших кондовых избяных домовых, ленивых, но присутствующих, кажущих из уголков кошачьи мордочки. Всегда, со времен своей непристроенной юности я мечтал о доме, идея Дома неутолимо жила во мне. Наверное это вообще характерно для человеческого, точнее мужского сознания - недавно я прочел в каком-то американском романе о выродке, маниакально грезящем комнатой с желтыми стенами; это неисцелимое чувство так знакомо мне. Как ни странно, женщине собственно дом нужен гораздо меньше, чем мужчине; дом ее - ее тело, она вкрадчиво обживает, обогревает им любое пространство, носит дом, как улитка, всегда с собой. Но дробное ущербное сознание мужчины, охотника, ловца, игрока взыскует утраченной гармонии и непрестанно тщетно стремится к ней. Сама Игра, в общем-то, есть в какой-то мере бесконечное возведение бесконечных стен. Дом - это место, в котором, наконец, можно жить, прекрасный, отстроенный заново Космос, сон о Рае. Всегда человек строил на земле храмы, воплощая в них конечно идею обретенного Дома. Желтые стены манят нас. И вот, смирившийся и усталый, довольный подобием и суррогатом, ячменным кофе и супом из пакетиков, освоивший эту нехитрую машину для жилья, вечно-временное свое пристанище, комнату-пенал, футляр для бессильного

старого тела, я вдруг начал узнавать ее. Словно в пожилой, постылой, но уже смертельно необходимой женщине проступают неожиданно черты любимой, исчезнувшей, бесконечно-юной - повинна ли в том вспыхнувшая в ней /как лампочка перед тем, как перегореть/ неуловимая женственность, или собственное видение, которому зрение почти перестало мешать, так что материальные предметы становятся как бы прозрачными, и дом наполняется призраками; а может быть просто перемена освещения? В жилье /само слово выдает себя какой-то похабщиной, темной татарщиной, гнездящейся преимущественно в суффиксах русского языка/ начал проступать прозрачный образ обитаемого храма. Бетонная коробка стала наполняться переменной игрой света, напоминающей не связанную плотью мимику - мимику ангела? Может быть действительно, как говорит Разман, я так далеко зашел по пути превращения, оставив позади жизненную ветошь, что сам пространственно-временной континуум раскрывается мне навстречу, принимает за своего. Комната раскрывается мне навстречу, и я постоянно чувствую на себе ее взгляд. Тогда, утром, это ощущение было особенно явственным - так человек, которому нельзя говорить, силится предупредить о чем-то одними глазами, но я в своей самонадеянной обиде не внял этой беззвучной утренней пристальности, и лежал, как пустая мыслящая ракушка, наполненная невнятным шумом, зло и беспечно наблюдая жизнь света. Комната наполнена светом всегда, точно слово - невысказанным смыслом, непосредственной сутью, не имеющей отношения к вибрации голосовых связок и мозговым рефлексам, но составляющей его бессмертную жизнь - "В начале было Слово" - "...и в нем была жизнь" - "и жизнь была свет" - "...и тьма не объяла его". Впрочем, это уже размановщина: заигрывание с Писаниями и апелляция к священным текстам по любому поводу. Для него это любимая игрушка, вроде китайского бильярда, с которой он научился в совершенстве обращаться, или удобный подручный инструмент; меня же истина Великих Учителей Человечества настораживает именно своей удобной универсальностью, несколько снисходительной поглощающей необъятностью. Моя маленькая вымученная правда растворяется в ней без следа, так что на той стороне, в вечности, мне, пожалуй, уже и нечего будет делать. Не то что бы я ловил их за руку, или выискивал плутовский крап на святых страницах, нет, но неисцелимое противоречие между Словом и Делом смущает меня, и никто пока что не указал мне пути его разрешения, пути спасения, говоря языком Размана; но ведь его невозможно указать - в том-то противоречие и состоит. По нему можно только пройти. Самому, плутая, наощупь, на карачках, наконец; со своим жалким коптящим светильником в

изначальной тьме. Я предпочитаю тускло и обреченно светить в темноте, чем неприметно погаснуть в торжествующем сиянии, залившем Космос. Должно быть это гордыня, но я - человек, а это по-длинно человеческое качество. К тому же гордыня, на мой взгляд, много ближе к вере, к надежде, любви, к огню и свету, чем так называемое смирение /это слово пахнет сырыми дровами и золой/ - понятие, в общем-то, фиктивное. "Гордыня, - скажет Разман, - но он же скажет: "Служение". "Игра" - скажу я.

И вся эта цепь повседневных превращений, на глазах преобразующийся мир, оказавшийся исподволь, целиком вовлеченным в мою игру, еще раз доказывает мою маленькую, но безграничную, дерзко нарушившую законы мира правоту. Движения и вибрации света, о которых я начал говорить, тоже, как выясняется, есть лишь непреложный фон Игры, в разгороженном измеренном пространстве и исчисленном времени, подчеркивающий, оттеняющий, расставляющий акценты в неотвратимом и неуловимом ходе ее. В этой высвеченной коробке /и не только комнату я имею в виду/ бытие и Игра окончательно совпадают /гезисне!/, видятся уже не двумя взаимопроникающими и взаимообуславливающими началами /началами без конца, стремящимися друг к другу, влюбленными бесконечностями/, но одним разрешающим актом, динамическим процессом снятия заданного противоречия. Ясный лабораторный свет сентября пронизывает комнату невесомым золотом по утрам, и к полудню в его неистойвой статичности начинает чудиться архитектура - пилоны и портики, нефы, прозрачные колоннады вычерчиваются зрением в блеске и колючей, как алмазное крошево, лучезарности, заполняющей дом. В полдень солнечная стружка забивает его дверку, словно ящик столяра, и начинаешь, кажется, ощущать ее запах, оптический запах зеркала, воздуха, домашней радуги, вспыхнувшей на гранях призмы. Но во второй половине дня тени становятся глубже, топкие и пропитанные оттеночной синевой побитого плода; они прячутся за предметами, и весь дом будто перекопан светом и тенью. Но сам свет уже не столь юн и воздушен, как утром, это зрелый свет дня, плотный, исполненный живым струящимся теплом, жаром крови. Выходя из ослепшего коридора - коричневая тьма вечности и гардероба - буквально наталкиваешься на ясный столп света в кухне - словно забредший сюда ненароком солнечный античный бог. Пыль играет в косых сильных лучах, и в ее мелком хаотичном движении мнится некая упорядоченность бесконечных чисел. Время сиесты, сон наяву /или сон о яви - Алиса заснула днем/, когда теряется счет минутам и часам, ибо день, достигнув совершенства, проявляет, наконец, свою истинную природу, суть и душу неуничтожимого, как жизнь, не под-

чиняющегося въедливым условностям линейного времени /часы, минуты, секунды еще/ начала. Как-то раз, в молодости, на излете ее, в состоянии душевного смятения и беспричинной и безусловной тревоги, я был почти на грани самоубийства, и простая, как всякая умелая ложь, мысль едва не доканала меня. Дело, надо сказать, происходило ночью, в полнолуние, когда седеют волосы, и холодным кипением вскипают мозги, а Луна, хозяйка, всевидяща и беспощадна, ночь же единственна /ведь никакой другой реальности не существует, утро никогда не наступит/, ночь дольше жизни. И вот, разьедаемый темнотой, - зажечь свет мне казалось кошунством - я, наконец, отбросил все дневные формальные причины своего состояния и обернулся лицом к лукавой начальной правде. Ночь вечна, подумалось мне, ведь день зависит от Солнца, объекта временного, а ночь - в себе. Ночь вечна. Это был итог, приговор, конечная формулировка. Именно это было истинной причиной моего отчаяния - не отвергнутая любовь, не карточный долг, не служебный крах; любая неприятность, удар, катастрофа сводились лишь к этому, почти биологическому занятию - перевод с языка слов и символов на язык крови и нервных волокон. Я не мог этого вынести. Свиристая Луна была даже не в глаза, а куда-то "под вздох". В опустевшем, как чулан, сознании, осталось одно - точно холодный металлический стерженек, вымытый безжизненным светом ключ на пустой столешнице - всего несколько бит остаточной информации: о том, на какой полочке в ванной хранится флакон с нембуталом. И вот, когда я остался совсем один, как шахматная фигурка на опустевшей доске, в покинутом доме, расчерченном Луной и тенью, в непроницаемом коконе отчаяния, один, как призрак, нераскаянная душа, приговоренный - в этот момент внешний дневной мир подал мне знак. Так третий крик петуха в ночи изгоняет демонов. Откуда-то с улицы, оттуда, где поздний цокот каблучков, неясное движение в тени деревьев, вишневым огонек сигареты, донеслась музыка - каким образом? Тогда ведь еще не было этих полупночных опасных мальчиков с воркующими магнитофонами, и телевизоры не горланили в каждом окне с беззастенчивой наглостью платных провокаторов. Обрывок музыки, какие-то четыре такта ворвались в мой заколдованный мир, бесцеремонно расталкивая его громоздкую тишину, отгоняя наваждение померкших зеркал, холодных и липких, как губы, затаившейся полированной мебели, прячущей отражения, бледных занавесок, в чьих мраморных складках читался неподдельный ужас. И, повинувшись сигналу, я встряхнулся от этого тяжкого надуманного сна, я почувствовал нечто столь дружелюбное, обращенное ко мне лично, что все мои дутые обидчивые претензии к жизни мгновенно обратились в ничто, в

жалкую тень, улепетывающую под напором негасимого света, в собственную мою тень, которую я было принял за что-то вещественное и внешнее. Четыре такта случайной музыки в этой аллюминиевой от Луны ночи, словно ключ к шифру, код, открывающий незримые двери, дарующий нежданную свободу - а я ведь ничего не знал о ней, упиваясь, лакомясь, как яичком в мешочек, своей болью; и там, снаружи, на расстоянии шага, протянутой руки, вдоха, ждал друг. Мир был мне другом, бесконечно щедрым и тактичным, а я, точно пьяный дебошир, бросался на лучшего друга с кулаками, размазывая по лицу хмельные грязные слезы дурацкого страдания, но он только отводил мои руки, сдерживал, стараясь не причинить ненароком вреда, укладывал на постель, безмерно сильный возился со мной, смешным и жалким, а мне-то мнилось, что это борьба, героическая и самоотверженная, что это и есть самая жизнь. И уж если в таком запале умудришься свернуть себе шею, то винить, кроме самого себя будет некого. Ощувив это бесконечное дружелюбие, отцовство и силу /но никак не власть/, я проникся значением архетипа - "ангел-хранитель". Именно в эту програничную ночь я узрел, наконец, не цель, нет, цель непостижима отсюда, из мира, но правило и смысл Игры. Не борьба, но игра обуславливает наши взаимоотношения с миром, бескорыстная и азартная одновременно, чуждая какого бы то ни было насилия и мелкого вегетарианского морализирования; именно в эту безвидную, вне определений и мер, ночь, ночь сознания, я исчерпал свою ненависть к Разману. Я полюбил Размана. Случайный и необходимый, как чудо, обрывок музыки - четыре восходящих в мерцающую пустоту такта - прикосновение, поцелуй, солнечный блик звука /все пять чувств находятся в непреложном родстве, куда более близком, чем нам кажется; и в такие острые, пронзающие ткань времени мгновения без труда можно почувствовать запах света или ощутить пряный вкус звука; интуиция объединяет их всех разом и дает единственный ответ, не опосредованный бегом частиц, вибрацией материи, игрой молекул/ принес мне благовую весть. Все двери оказались незапертыми, просто я толкал их не в ту сторону. Бесконечный день терпеливо ждал, пока я открою глаза, чтобы кончилась ночь. Ибо день зависит не от Солнца /объекта временного/, но от света, неуничтожимого, не подвластного тлению, вечного. И, несмотря на довременную ночь, на пресловутые "тоху ва боху" и "тьму над бездной" - в начале всего и началом всего был Свет. "В начале было Слово..." - "...и в Нем была жизнь" - "и жизнь была свет" - "...и тьма не объяла его". И я, старый и отнюдь не верующий человек, обращаюсь к сакральному тексту, как к истории человеческого самопознания и самооткрытия, к всечеловеческой интуиции, озаряющей

бесконечность духа, к священной игре открывающегося во всем смысла. День, пропитанный светом, и мир, напоенный смыслом, - вот два раскрывающихся друг в друге образа, метафора, неуловимый и внятный час X - час озарения: где-то в три пополудни сентябрьского дня, если пересчитывать на кропотливое время солнечных часов, где тень отмечает движение света, а колебания маятника пытаются срифмовать космический ритм вращения светил. В жаркой, но отнюдь не душной тишине созревшего, как спелый плод, в котором уже завязалась другая, следующая жизнь, дня, ходики со старушечьим круглым лицом лузгают семечки секунд. Тишина насыщена и пустота полна - как тишина и пустота церкви. Обычно в это время я отдыхаю /хотя понятие "отдых" теперь, с уходом на пенсию, приобрело иное значение, я бы сказал, противоположное прежнему, - не перерыв, не пауза, в гроыхающей мелодии будней, а наоборот, в незанятости и вынужденной праздности - момент некоторого сосредоточения; к отдыху я приступаю, как раньше приступал к какому-нибудь вполне конкретному делу: еще один - который уж - пример всеобщего стирания условных границ/. Я лежу на высокой кровати, и ни одной мысли не возникает в моей голове; но вовсе не отупение, а ясность я чувствую при этом. Мозг не отключен, просто он работает в каком-то ином, новом режиме. В конце концов, мозг всего лишь функциональный орган, инструмент, и безмолвие /бездумье/ свидетельствует как раз об обретении утраченной адекватности - можно не напрягать зрение, когда уже рассвело. Наверное, нечто похожее испытывает курильщик опиума; другое дело, что драгоценное состояние полноценной пустоты вызвано у него путем искусственным, то есть по сути обманным - и за этот обман приходится страшно расплачиваться. Вексель подписан кровью. О чем-то подобном твердят всевозможные мистики Востока и Запада, но ведь и они, противореча себе, этого состояния д о б и в а ю т с я - добиваются д а р а, не парадокс ли? А ведь достаточно прикорнуть под смоковницей. В этот час, когда вырезанные прямоугольники солнца ложатся на выцветшие обои, и воздух колеблется и струится над нагретыми поверхностями, я не назову свое жилище безликим словом "комната". Светлое слово "горница" приходит на ум. А вскоре день начинает стареть - и вот опять доказательство того, что старость и дряхлость не только не синонимы, но понятия даже не непременно сопутствующие, точнее сопутствующие лишь в силу изначальной ошибки, пресловутого "первородного греха", энтропийной болезни мира. Сколько встречал я одряхлевших юнцов, прыщавых и подгнивающих, порченных, с голодными незрячими глазами, и какие ясноокие и ясноликие старцы, с кожей почти прозрачной, сквозящей на свет, как ис-

сушенный пергамент, встречались мне у церковных ворот или в пригородных электричках, легкие, точно пламя восковой свечи в полдень. Точно мешочный груз прошлого, каким бы оно ни было, отпал ветхой шелухой, коростой зажившей раны; опустела дорожная сума памяти и осталось только это невыразимое и ослепительное "сейчас". Разумеется речь не о тех заскорузлых старухах, что гроздьями сморщенных грибов облепляют скамейки возле парадных - зловонные, пузыри земли: они, наверное, родились такими, с искривленными почерневшими ногтями и косами серых волос /впрочем, тут я пристрастен и, должно быть, несправедлив, но уж очень едкая слюна брызжет из шамкающих ртов, уж очень клейкие взгляды прилипают к моей боязливой спине - о, сестры, сестры!/. Речь же о медном отливе предзакатного света, продырявленного крикливыми ласточками, беспорядочно мечущимися в предчувствии дождя - и в этой мнимой беспорядочности можно уловить определенный строй, почти математическую выверенность ломаных и зигзагов, будто стремительная схема небесного града выгчерчивается в холодном воздухе высоты над домами, а это всего лишь быстрые птицы ловят на прокорм вредных насекомых. Все тот же принцип игры, единый для танцев пчел и взаимоотношений людей. Бесплезная красота цветов и страшная сила человеческой любви, только затрудняющая естественную функцию продолжения рода. И закат, открывающий глубину перспективы, будто в мудрой и простой книге обнаруживается неожиданный подтекст. Сумерки, сиреновой отравой наполняющие дом, - не темнота, но другое состояние света. Разман обычно приходит в гости в сумерках. И даже ночью свет не оставляет мой дом. Колдовской свет Луны, точно экзотический плод, вываренный в черном котле полуночи, и бесстрастное искусственное свечение фонарей, свет-гомункулус, выращенный в стеклянной колбе. Не прямой, но отраженный в шевелящемся прибое листвы, подступающей к самым окнам, он проникает в комнату мерцающей взвесью. Мокрая листва - точно тысячи блестящих влажных глаз. И темнота уже не безвидный враг, не Песочный Человек из детской сказки, чью громадную угловатую фигуру не видишь, естественно, но очень хорошо - слишком хорошо - знаешь. Темнота милосердна - прохладная ладонь, возложенная на разгоряченный лоб и натруженные глаза, изнанка света. Он же клубится, едва различимый, над поблескивающим паркетом, встает невесомым и уверенным мерцающим столпом в изголовье - чтобы проснувшись от вязкого больного кошмара, не оказаться запертым в безвыходной камере мрака, залитым, как ошеломленное насекомое, скелетик души, застывшей, сцепившейся навсегда черной смолой, но увидеть брезжащий прозрачный иероглиф надежды.

Свет разбудившего меня утра не говорил ни о чем - ясный и нейтральный, как сталь; не определить даже, солнечно ли на улице, или пасмурно. Чувство раздражения не покидало меня, более того, оно было целенаправленным, как сигнал, как попискивание пеленгатора, хотя тогда я этого, пожалуй, не осознавал. Раздражение словно гнало меня куда-то: я быстро поднялся и оделся, так давно не приходилось торопиться, особенно по утрам, когда пребываешь в почти молитвенном состоянии медлительной пустоты и некоторого ненавязчивого приуготовления, в Воздушном пузырьке между громадой яви и всем тем, на что намекали сны. Но теперь я не мог долго оставаться наедине с этим утром, похожим на ничего не отражающее зеркало. Точно во-вне что-то случилось, и я спешил убедиться в этом - так преступника неумолимо влечет к месту преступления - хотя и не знал, что же произошло, где искать свидетельство. Я наскоро позавтракал, почти по-Размановски: кефиром и черствым хлебом и парой яиц вкрутую, и вышел из дому. День был, как ртуть: бессолнечно-ясный, исполненный движения. Маршруты мои никогда не отличались разнообразием - как обычно я вышел из пустого звонкого от осени и сухого асфальта двора на свой бульвар. Все звуки сделались приглушенными, но гулкими, словно я вступил в какой-то незримый тоннель. Автомобили неслись по проезжей части почти беззвучно, с пугающим шелестом, как немые убийцы, что страшнее крикливых. Солнце только предчувствовалось за матовой, с металлическим отливом пленкой неба над крышами города. Песок сухо поскрипывал под каблуками. Я шел быстро, отнюдь не прогулочным шагом, не зная, собственно, куда тороплюсь, погоняемый лишь смутный болезненным чувством беспокойства. Но вдруг зрение точно потеряло точку опоры, взгляд соскользнул, как палец с курка, в сторону и вверх - витиеватый росчерк узорной чугунной решетки, проницаемая высотой и беспамятством крона громадного дерева, и еще выше - узкая полоска голубизны, холодная и пристальная - голубизна и пристальность клинка. Страшное и знакомое что-то валко и почти ласково ткнулось в теплую мякоть мозга. Круглый блестящий мир откатнулся солнечным маятником в сторону, и на какое-то спазматическое мгновение я остался только с самим собой.

Явь постепенно пропитала сознание. Я стоял на бульваре возле ядовито-желтой скамейки, на которой сидел какой-то безвидный человек. Стало светлей /впрочем, быть может, мне так только показалось после утробной обморочной темноты/, и изменчивый день обтекал меня, словно уже совсем посторонний предмет. Ноги были, как глина, и шершавый воздух забивал вялые легкие. Я осторожно опустился на скамейку. Человек на другом конце ее шевельнулся и



повернул ко мне лицо. "Нет, - внятно произнес он, - еще не сейчас, - его голос прозвучал, как мне показалось, над самым ухом, хотя сидел он довольно далеко - точно некий акустический фокус. - Страшно?" Я испытывал понятную неловкость и даже не решился взглянуть на него прямо, несмотря на то, что явная бесцеремонность обращения задела меня. Я заметил только очень короткую стрижку и широко поставленные глаза на бескровном, неопределенного возраста лице. На нем был светлый несвежий пиджак и поношенный свитер. Голос был почти лишен интонации, словно он диктовал или читал вслух из книги. "Да, что-то с давлением," - отвечал я, должно быть не слишком любезно. "Смерть, - сказал собеседник, - смерть - только напоминание." Он как-то сразу вызвал у меня явную антипатию, тем более, что становилось ясно, к какому разряду людей он принадлежит. Я терпеть не могу всяческих уличных философов и бульварных проповедников, никчемных и самоуверенных, пестрый человеческий сор, городские пузыри земли, алкоголики, как правило, или завсегдатаи психбольниц. "О чем же?" - спросил я тем не менее, еще слишком слабый, чтобы уйти или промолчать. "Как и все, - сказал мой виз-а-ви, - О Суде." Этим он уже откровенно разозлил меня. "Вы Страшный, полагаю, имеете в виду?" Он не ответил, но согласие предполагалось этим уверенным молчанием. "Вздор, - сказал я, пожалуй, слишком резко. - Я не верю во все эти блудливые штучки. Посмертное воздаяние! Если бы я верил в Бога, я побоялся бы оскорбить Его мыслью о какой-либо хоть трижды высшей справедливости." Собеседник издал какой-то сдавленный гортанный смешок и сказал, глядя перед собой: "Он говорит так, будто знает, кто он такой". Эта небрежная надменность окончательно взбесила меня - в глазах сделалось желто от мертвой листвы и злости; забывая о гулком пульсе, тяжело стучащем в висках, я почти выкрикнул в разреженную пустоту перед собой, так же не глядя на него: "Вы сами превращаете своего Бога в судью, в бухгалтеря, в вкочущую насадку - низко! Рай и ад - взаимоисключающие понятия, и жизнь не следственный изолятор. Я знаю человека, который готов отказаться от вашего рая, прыгнуть в кипящее адское озеро, если на нем есть хоть часть вины - никакой суд не может быть праведным! Не надо лгать!" "Что есть истина, - так же ровно произнес собеседник - то ли спросил, то ли процитировал. Мне отчего-то стало не по себе. - Другое, другое. Хватит. Подумай же о себе." В мгновенную паузу ворвался оглушительный шепот города. "Страшный Суд, - сказал собеседник, вновь медленно обращая ко мне лицо, бледное теряющееся пятно на фоне яркой, точно люминисцентной сплошной стены листьев, странно знакомое и ненавистное, - и есть обретение самого себя." Я услышал собствен-

ный сыпучий шепот: "А ты кто такой? Тебя что, из семинарии выгнали? Не слишком ли самоуверенно? Ты - ты-то знаешь, кто ты такой?" Я вдруг испугался, увидев, что ничуть не смутил его, что он сейчас мне ответит. "Я - твой Ангел." - сказал он. И тут я впервые увидел его лицо - точно крупный план на мерцающем телеэкране - широкий рот с хищно вздернутыми уголками губ, выступающие скулы, очень высокий белый лоб и глаза - без зрачков. Широко поставленные, почти белые безумные глаза.

В эту секунду короткий и пронзительный крик проткнул тот акустический кокон, в котором я пребывал все утро, бесполой от ужаса, похожий, должно быть, на те ничьи голоса, что возникают в большом мозгу, и в то же время какой-то злобно-мелодический, как вопль клаксона или хор вспугнутых духов. Кричали на другой стороне бульвара. Я обернулся и увидел непоправимое: проезжую часть перегородила замершая машина - в ее очертаниях еще жило стремительное движение - черная и празднично блестящая, как нелепая мрачная мгрушка, несколько случайных прохожих с одинаковыми от бледности и крика лицами оцепенели на тротуаре, точно застигнутые вспышкой фотографического блица, а чуть дальше, возле бордюра, лежала на асфальте лицом вниз женщина в серо-голубом плаще. Ее платье было высоко задрано с каким-то анатомическим бесстыдством, и нагота странно подвернутых ног слепила. Руки были вытянуты вперед, точно при прыжке в воду. В нескольких метрах от нее лежал пластиковый пакет с яркой картинкой и аккуратно треснувшая бутылка молока. Молоко белым пятном медленно растекалось по шершавому асфальту, и это единственное неживое движение во всей страшной, словно выдуманной сцене придавало ей неоспоримую реальность и очевидность. Смерть была несомненна. Я отвернулся, не в силах вымолвить слово, онемевший, как пораженный электричеством, - но на скамейке рядом со мной никого не было. Сумашедший исчез. Бульвар был пуст и безжизненно прям. И тут спасительно, как прорвавшийся нарыв, как освобождение от бесплодного стылого напряжения, наваждения, морока сквозь тонкую белесую кожицу облаков брызнуло солнце, расплескало свою нестерпимо едкую и живительную желчь. Я не был больше затерян среди безликих громоздких декораций, но сидел на сверкающем желтизной и зеленью и багрянцем бульваре, среди стойкого света и колеблющейся тени, живой и очень старый. И как подтверждение, в горизонтальном колодце перспективы, в легчайшем летучем солнечном огне возникла темная сутулая фигура; Его-то я и ждал. Он приближался медленно, необычно медленно, издалека увидя меня, но не ускорив шага. Он походил на последнего беженца последней войны - я начал догадываться. Так ре-

бенок не хочет смотреть на страшное, на открытую в темноту дверь или лицо покойника на похоронах, но смотрит - я не хотел знать, но уже знал, что он сейчас скажет. Разман остановился надо мной, застав свет, и сказал, почти не разжимая губ: "Ксения умирает."

## VIII

Ночь, как ловушка. Точно беззвучно и неумолимо захлопнулась крышка, отделявшая "внутри" от "снаружи" - а, казалось, такое уж условное разделение - и ты костенеешь потерянно в каком-то арестантском загустелом смятении, не в силах сообразить: как же ты сюда попал? А потом вдруг обнаруживаешь, что и все бывшее не здесь, там, снаружи, сделалось как-то смутно и размыто, утратило цейсовскую дневную ясность действительности и перешло целиком в тусклое ведомство памяти. В эти резервуары и отстойники, где все может перемешаться непоправимо, сон, явь, умышленная правда и голая ложь. Но, несмотря на это /или как раз вследствие этого?/ память ощущается, как тяжесть под ложечкой - точно несварение желудка, несварение души, от перекорма - ужин отдай врагу, запихни ему в жадную глотку, пусть захлебнется этой несъедобной, неудобоваримой действительностью, отравой правды, пусть его корчит и выворачивает в этой черной ловчей яме от едкой изжоги вины и беспомощности. Память - род хронической болезни. Она прорастает в моем черепе ветвистым черным деревцем, и темнота кажется ослепительной, и от нее не прикрыться рукой. Ночь, как обморок. Я провалился в нее, как в крещенскую прорубь в незапамятные времена, ибо время распалось, окончательно утратив свою линейность, зияя пустотами и многозначительными вымарками; это уже не река, несущая спокойные воды от предполагаемых истоков к гипотическому устью, не река, но стоячее метафизическое болото. Надо идти и идти, проваливаясь и увязая в этой обманчивой субстанции - и не вздумай остановить прекрасное мгновенье, цепкая, как стареющая женщина, топь засосет, сглотнет беззвучно и неумолимо, успеешь только булькнуть по-Размановски: "А где же Бог?" да увидеть краешек неба /которое все-таки есть/ да какую-нибудь водомерку, равнодушно скользнувшую мимо лица, в знак того, что жизнь - ура! - продолжается, а не то и кровавого мальчика, прятавшегося до поры в высокой осоке забвения подобно Моисею. Да нет, это и не словоблудие даже - пусть защитное, словесный кокон, недаром так прорывает смертельно испуганных людей неумной магически-пустой болтовней - это уже просто стон, мычание: потому что ночь - как омут. И я лежу на дне этого омута неясным грузным предметом, некоторым уплощением, сгустком самой

темноты, только, подобно остаточным точкам в электромагните, во мне бродят вязкие, как тромбы, непослушные самостоятельные мысли-слова. И все ложь. За этим пределом ночи слова утратили свои отдельные значения, сделались отвратительными и пугающими, как насекомые - жестокая насмешка природы над целесообразностью и смыслом. В начале было Слово, а в конце? Темнота и мычание? Ад. Но последние грани расползлись под напором старости, лопнули последние связи, словно перерезанные этим похожим на осколок стекла старческим голосом. Ад и Рай растворяются друг в друге. И все - правда. Ибо, если слово не может быть правдой, то стон не может ею не быть. Слова изменили свою функцию. Ангельские языки, чуждые здешнего, уязвленного противоречием и ложью смысла, блаженный лепет иноговорения - или скрежет зубовой? Сознание западает порой, как клавиша пушущей машинки. Словно я печатаю отчет о Конце Света. Время вовсе не застойное болото, напротив, и память - не резервуар, не аквариум для золотых рыбок чувственных воспоминаний; все это движется тектонически, поглощая друг друга, превращаясь, но на моей машинке нет букв. Все другое. Случилось. Реальность стала единой, а я еще дышу, и артериальное давление разрывает мозг, и даже вовне что-то еще есть - то блеснет слабо оконным отсветом в трюмо, то вздохнет удушливым сквозняком. Но ведь было какое-то ключевое слово, определяющее некоторым образом это, теперешнее - да, взрыв. Мгновение равно вечности. Взрыв - и детонатором был узанный женский голос, сохранивший знакомую модуляцию, пронзивший время, рыхлую плоть минувших сорока - или сколько там? - лет стремительным сияющим клинком.

Разман нашел ключ к шифру /но может быть он его знал всегда?/ - "Ксения", и меня обдало изнутри азотным холодком предчувствия. Магический и предельно конкретный, куда конкретнее, чем обманное словечко-взвизг "Я", возглас - имя, зов - привел в движение звонкую карусель мира с его птичьими трамваями, сверканием, хохотом; закружило и понесло. Мы ехали в больницу. Я плохо запомнил это нелепое движение сквозь сияющее и дразнящее разными голосами облако города - словно сталь, камень, стекло сделались вдруг проницаемой светом взвесью сна, утратив угрюмую материальность, наполнившись насмешкой и легчайшей царственной иронией. Я утратил собственную волю /точно мне был дан приказ не оглядываться/, я шел за проводником - кажется, порой, я забывал его имя - сквозь абсурдный и веселый Город Мертвых. Не знаю, что привело меня в такое состояние. Во всяком случае, не известие о том, что Ксения умирает - ведь это было лишь внешней стороной события, исчезающим дыханием на стекле. Я

достаточно спокойно отношусь к смерти, и всякое соприкосновение с ней вызывает лишь род отстраненного любопытства; но сейчас я был поражен в душу. Словно "стрела, летящая во дни", вонзилась, наконец, мне в солнечное сплетение - невозможно стало дышать. И опять-таки дело было не в том, что значила для меня Ксения на протяжении всей прошлой жизни. Просто я уже знал - интуиция и непосредственное знание совпали за этой гранью, блеснувшей убийственным солнцем в полуослепшие глаза; я знал суть, хотя еще не услышал приговора. Тусклое пятнышко дыхания истаяло на стекле, и я знал, что именно увижу сквозь незамутненную, охлаждающую /ужасом? милостью?/ твердь. Знание убило меня. И вот, мертвый, - осталась только пульсирующая боль в затылке и необъятная ночь собственной памяти - я лежу в тяжелой неотступной темноте, съевшей мое тело, на самом дне мира, и это даже не казнь. Точно Иона во чреве, безмолвный Иона, который не верит в Бога. Все реально, и ничего уже не спрячешь в потайной кармашек лжи или забвения.

Мы подъехали к клинике в обеденный час. Аллея изуродованных тополей была грязновата и пуста, и только неумолимое солнце светило с жестокой и радостной яростью пулеметчика-смертника; зрение утопало и растворялось в этом свете. В какое-то мгновение мне показалось, что нынче март, а не рассудочный и внимательный сентябрь. Неслышно и молча мы шли в этом тоннеле света к главному корпусу, и когда я увидел его трехэтажный, уже обветшалый фасад, точно зажмурившийся от солнца, мимолетное, но непреложное чувство возникло то ли в мозгу, то ли в гортани - я уже был здесь. Дежа вю, феномен ложной памяти, но отчего именно ощущение истинности свело горло слезами: будто некто незримый ласково поздоровался со мной, когда я не заслужил ласки. И снова окаменелая спина Размана, он не оборачивается ко мне, не разговаривает со мной, сосредоточенный и рассеянный одновременно, как человек, занятый каким-то строго определенным делом, - роющий, к примеру, могилу. Мы поднялись по необычно высокому крыльцу - я зачем-то сосчитал ступеньки, их было восемь, если считать маленькую, почти вросшую в землю приступочку - и Разман отворил дверь. Вестибюль мне показался неожиданно большим и пустым, точно заброшенная церковь, и эта неоправданность размеров, с практической точки зрения необъяснимая, бессмысленная, вдруг тоже показалась мне знаком, каким-то молчаливым предупреждением, которое я - увы - не успевал расшифровать, влекомый Разманом и собственным зачастившим сердцем. Пустое, как шахматное поле, сумрачное пространство было гулким, будто в провалах эха таились бесчисленные стенания всех страдавших и

страдающих здесь людей - так под сводами храма всегда живет слюдяной трепет скорбных голосов хора. Впрочем, я пришел в состояние такого неестественного возбуждения, такой нервной экзальтации - сердце буквально толкало меня изнутри, и я жадно глотал, даваясь, густой валокардиновый воздух клиники - что мне могло пригрезиться что угодно. Сознание было продырявлено, изрешечено беспорядочным артиллерийским огнем ощущений, непрощенных ассоциаций, фантомов памяти и чувств, оно уже не могло выполнять свою защитительную функцию - мир наполнился головами и призраками. Я, кажется, был на грани обморока. В углу, за столом, там сидела старуха в белом халате, перед толстой раскрытой книгой, регистраторша ли, привратница, право, не знаю, с морщинистой шеей и немигающим взглядом черепахи, из той своры дворовых эриний, что преследует меня повсюду. Уже и не человек вовсе, а эдакий, отвратительный иероглиф. Но отчего-то она не сказала нам ни слова, только проводила своим невыносимо долгим, как тягучая ядовитая слюна, взглядом - "Должно быть Разман здесь знают" - подумалось мне, и даже эта простая мысль вывернулась вдруг каким-то другим жутковатым смыслом. Мне действительно сделалось дурно, точно темное облачко, возникнув под ложечкой, расплозлось по всему обмякшему телу, заполнило, клубясь, голову. Когда я, вступив на лестницу, ухватился за перила, мне показалось, что ладонь прилипла к ним. В уши победно трубила собственная кровь. "Идем, - сказал Разман, и голос его прозвучал еще деревяннее, чем всегда, - идем же". Не в силах возразить ему, не смея даже пожаловаться на свою слабость, я послушно пошел за Разманом вверх. Как мы добрались до нужной палаты - не знаю, был только суставчатый, ступенчатый бред лестниц и коридоров, стремительно втягивающий нас, словно всасывающий через трубочку, мимо каких-то малоподвижных людей с непропеченными лицами и пугающих закрытых дверей. Внезапно я обнаружил на себе халат и несказанно удивился - откуда, кто и когда набросил мне его на плечи? Белый цвет о чем-то напоминал, но некогда было подумать, сосредоточиться, ибо этот ползучий полет вглубь больницы продолжался, размазанный дурнотой и памятью. В простенках тут и там вспыхивали зеркала - точно нас фотографировали. Словно этот страшноватый дом силился нас запомнить.

И вдруг все стало простым и ясным, как предметное стеклышко. Мы стояли перед высокими белыми дверьми, и я почувствовал себя опоздавшим школьником, который должен войти в притихший класс. Дверь скрипнула, точно вскрикнула - недоуменный возглас вещи послышался мне. Палата была наполнена ровным светом, и, казалось, он был свойством самого этого заповедного

пространства, а не лился из окон, выходящих в скудный больничный сад. В дальнем углу, почти у окна лежала Ксения. Стекло капающее над ней преломленным в жидкости лучом, пойманной радугой било в зрачок, и белая наволочка оттеняла матовую желтизну кожи. Но я сразу узнал ее. Передо мной лежала, закрыв глаза, старая, чужая, смертельно больная женщина, но в ее древнем царственном профиле проступал летящий очерк того лица, лица той, которая никогда не могла стать старше. И то и другое было правдой. Время обмануло меня. Ксения была здесь. На мгновение мне показалось, что вместо сердца у меня в груди черная дыра с рваными обугленными краями - ведь я уже знал, кто я. Разман отступил назад, и где-то там за спиной шевелился запыленно, говорил слова, никчемный победитель. Там был кто-то еще, в белом халате, с бородкой, не помню, да и неважно теперь, помню только пальцы на спинке кровати - тяжелый серебряный перстень с кровавым камнем - отбивающие какой-то свой неслышный размеренный такт. Ксения открыла глаза. Ей не надо было даже узнавать меня - она знала все, всегда, ибо вся бесконечная жизнь вместила в это мановение век. "Ты здесь", - сказала Ксения. Это был тот голос, глубокий, старческий, юный, потому что правда была только одна, реальность была едина, и я стоял под спокойным взглядом этих серых глаз, осознавая себя впервые, осознавая и потому не смея просить о милости. Это было больше, чем страх, больше, чем любовь, больше, чем знание; этому вообще нет названия и определения в мире изменчивости и страдающей лжи, потому что это было больше, чем смерть. "Ненавижу", - внятно и просто произнесла Ксения и закрыла глаза.

Желтые стены обрушились в моем мозгу, погребая под собой свет.

Невозможно жить на этом уровне правды, и я, естественно и неотвратимо, сполз на утробные уровни отчаяния, страха, беспомощности, ночи. Ночь, как оползень, что совлек меня с солнечного голого горного склона, протащил вниз и вглубь, завалил меня, точно толстую белую личинку, своей черной глиной. Я не оправдываюсь - ни перед собой, ни перед ближним, ни перед темнотой, я даже не раскаиваюсь. Но, вместе с тем, я еще жив, пространство и время не утратили пока своей всасывающей длительности, нечто продолжается. словно какое-то дьявольское чудо, воскресение наоборот. Иногда я даже начинаю ощущать свое сердце, оно, словно некрупное животное, жирная крыса или крот, вдруг начинает копошиться в груди, мешая дыханию. Иногда же я начинаю чувствовать боль - в затылке; я воспринимаю ее, как некий посторонний твердый предмет, лежащий на моей подушке. Тогда возникает некоторая досада,

чисто физическая, как изжога или скопление газов в кишечнике, на того, несуществующего, чьей обязанностью является напоминать мне таким образом, что я есть. Но вопрос "зачем?" не возникает, ведь он неправомерен теперь, по эту сторону вины. Вопросы кончились, остались одни ответы - формула ада не хуже Дантовой или нацистской; если бы существовал ад. Но ад - это ведь тоже решение вопроса. Порой можно помечтать и о преисподней. Есть только ночь, в которой прорастает сырой чешуйчатый октябрь, и больше нечего ждать. Нечего ждать. Иногда я слышу собственный стон, протяжное кабанье "м-м-м", точно мычит и гукает престарелый младенец.

Порой я все же, наверное, впадал в забытье - и вот вновь неправда слова и смысла; ведь это не было забытьем, наоборот, окружающая меня смутная бесформенная реальность исчезла, прорастая памятью. Что-то вроде путешествия во времени. И я опять брел, бережно поддерживаемый Разманом, по окончательно распавшемуся, испорченному темнотой городу, словно продирался сквозь партизанскую заросль цепкого камня, хищной клочкастой тьмы и злого света. Город оборотился своей ночной демонической сутью, он был против нас. Точно природа ощерила зубы, показывая, что все - она, а нашего ничего здесь нет, мы, как и были, голые, раненые, бездомные в черном лесу сна и страха. Я не видел европейских городов и могу судить лишь по онемеченным, пограничным, вроде Ревеля или Риги - такие правильные и здоровые, эдакие выхолощенные каменные бычки, не знающие любви и крови. Разве что в некоторой неврастении, свойственной веку, а не их крепкой бульжной плоти вовсе, можно заподозрить наших европейских захолустных выкорымышей. Но в этой спящей земле, не ведающей своих границ, все - другое. Где еще возможен такой уникальный, воспаленный город-нарыв, город-мания, город-паранойя - Санкт-Петербург, спятившее, одержимое сверхценной идеей пространство чухонских болот и северного низкого неба. Но если увидеть проблему взглядом диагноста, истинно русские города иные - шизофрения на грани слабоумия, перманентный распад, замедленный взрыв. Распухшие, расплзающиеся, разъятые. Никакого плана, точно десяток горячечных архитекторов одновременно начинали строить их, начинали и бросали, преследуемые роком; остальное доделывало само Время, вкрадчивый дьявол. Мучительно притворяющиеся чем-то единым - так мучительно и тщетно шизофреник пытается собраться с мыслями, ускользящими и лгущими, пытается в разорванном своем сознании, сквозь прорехи и раны его найти тот высший единый смысл, что откуда-то извне и разрушил его, обратив не в Рай, но в бред. Все эти нелепые посадки, селища,



что тотам славли, трухляво-деревянные и зыбко-бетонные с их сорными огородами, сточными гнилыми речками, невнятицей жилищных садов и сверкающим делирием метрополитенов; но во всем этом, как и в разорванном сознании безумца, есть некое смертельное бесконечное, как в натуральных числах, приближение к единственной цельной истине, какого не найти в здравом уме и трезвой памяти европейского самоубийцы /самоубийцы-после-завтрака, как бы он ни притворялся сумасшедшим или Германом Гессе/ или в сдобных закоулках прибалтийских столиц-хуторков. В больших жалких русских городах всегда присутствует высокая и светлая идея Града. Но сейчас - ночь /как измена/ - и это даже не город-бред, это город-агония. Не только смысл утрачен в бесчисленных ямах и колдобинах тьмы и дурного света, сгущающего и стягивающего цепко окружающий мрак, нет даже его брата-перевертыша, авелькаина, абсурда, бессмыслицы, в прозрачных лабиринтах которого так невозможно и радостно жить порой. Есть только тупые злые затрешины ночи - словно бесконечный допрос в кабинете следователя Пилипенки. Утро никогда не наступит. В камеру, простую и пустую, как "Отче наш", не отведут больше никогда. Нет передышки и нет смысла: все правильно, нечего ждать. Я совершенно потерял ориентацию в исковерканных пространстве и времени, никакой больше дороги, только воровские озирающиеся улочки-хипесницы, уводящие к затхлым помойкам и кошачьим проходным дворам - никуда ниоткуда, запах мочи и алкоголя, тлен. Только мертвое заикание тупиков, только спотыкающиеся увиливающие переулки, темнота, бредящая деревьями и гнилыми ветрами, цементные пятна света, марающие нарукавники подворотен - я, кажется, и не иду вовсе, я прямо оказываюсь там, здесь, тогда, сейчас. И единственная наличная реальность - жестокое тепловатое плечо Размана, принявшее на себя эту чужую тяжесть и умерщвленную боль. А не то внезапный развал ночной площади - так нелепо и страшно расступается живая плоть под скальпелем хирурга - дезорганизованное пространство с какой-то необъяснимой натужно-выручной геометрией в световой паучьей сетке фонарей и купающих тут и там лукавых светофоров, сигналиющих никому. Да, вот же и сейчас мы вроде бредем как раз по такой асфальтовой пустоши, словно два отставших еврея по дну Черного моря. Сумасшедшая площадь сгорблена, как спина кита, и так же черна и мокра /дождь ли не приметно прошел, или проползло стадо мигрирующих поливальных чудовищ?/. Лоснящаяся кожа асфальта прорастает красноватым отсветом немо вспыхивающей в вышине надписи: "При пожаре звоните 01", и дома, выставившие свои углы, торцы; служебные подъезды, точно не желают узнавать нас, сделавшись в но-

чи будто выше и строже, уже и не дома вовсе, а здания. Одышка тычет ватным кулаком под сердце. Я едва переставляю ноги, словно по бедра в черном месиве асфальта, не чувствуя их, как обмороженный. Как контуженный тьмой. Если бы не Разман, я, наверное, сполз наземь, растекся по мостовой, превратившись в грузную каплю протоплазмы. Но он здесь, верный враг, он тащит меня на себе, мешок чужой вины, он говорит какие-то успокаивающие, подбадривающие, бессмысленные слова, и голос его уже не напоминает голос деревянного гомункула. Это Разман, - говорит мне тепло в левом боку; я, кажется, все-таки прорвался к ним, но меня-то уже почти нет. Точно индикатор вспыхивает где-то в мякоти мозга - боль? страх? стыд? - уязвляющее и стремительное чувство на грани ?и за гранью/ этих трех, пронизывает меня летящей каплей кислоты: словно меня увидели. Плоскость, черная, помаргивающая красноватым и влажным /глаз/, кренился и валится; я, мыгча, - рот забит языком, деснами, зубами, и ориентироваться в себе - как в городе, как в отечных часах и минутах: внутри, вне! - весь мир как полость собственного рта - оседаю на Размана, и он вновь подхватывает меня цепкой, все еще сильной рукой мастера и убийцы. Он твердит, твердит свои секретные слова, заклинания, пароли, а мне нечего сказать ему. Я бы прохрипел, выворотил из окоченевших уст: "Помилуй!", но ведь это же не Бог, кажется, тащит меня по стогнам и улицам града, оказавшегося просто смертью. Это Разман, и быть может я опять ничего не понял, а он вновь неуловим: на полшага впереди, на пол-глотка, на пол-вздоха, на полсмысла; но он волочит меня на себе, точно раненого окруженца, выводит незримой тайной тропой из оцепления темных безликих сил, карателей-памяти, вины, ночи, смерти, через лес, через мертвые зоны и минные поля, через застывшую войну, через и сквозь...

Но здесь, словно все окружающее какая-то переводная картинка, в которой я существую странным образом, не являясь изображением или частью его, сквозь одну реальность начинает проступать другая - и молчаливые предметы, вещи, уже и не мои как бы, отстранившиеся, обступают меня в смутной душевной тьме вернувшейся комнаты. Занавеска точно вздыхает на притворенном окне, вдыхается и опадает; кроны деревьев, исполненные темнотой и влагой, подступают к самым окнам, как тошнота к горлу, невидимые, угадываемые. Все невидимо и угадываемо теперь, в ночи - чувства отсутствуют, они превратились, слились в одно - осязание. Подсознание, сверхсознание, которому не нужна кожа и нервные рецепторы, которому достаточно слабого намека на внешний мир, да в общем-то не нужен и он. Я стал прост /какой ценой/, как донный моллюск, клетка, рудиментарный орган. Как палец, нажимаю-

щий во тьме кнопку - вызова медицинской сестры? взрывного устройства? входного звонка? Как боль, целиком пропитавшая мякоть тела. Как крик.

Потом - но нет "потом", будущее уже прошло. В общем-то и "прежде" достаточно условно, словно в кинематографе, где все - збкая ложь света или в провале гашишного бреда, где уже ни лжи, ни правды/ один раз в молодости, в сладком и кровавом среднеазиатском городке возле самой иранской границы я попробовал этого зелья - и испугался, почувствовав в нем смерть/. А "настоящее" - до него не дотянуться затекшей рукой, чтобы проверить, настоящее ли оно. Просто /я почти уже улавливаю суть мгновенного превращения/ в как-й-то миг не наступило, не пришло, ибо единственное, что у меня осталось, - это "здесь", скорее стало /с библейской интонацией, как в начале творения/ - утро. И увидел Бог, что это хорошо - но какое существующее создание может быть свидетелем такого ex nihilo, вынести, вместить, присутствовать. И стал Свет. Свет действительно стоял. От распахнутого, едва прочерченного в нем окна до замкнутой двери, слепящей своей белизной - столп света, запрокинутый столп, мерцающий иконным золотом, но не скорбным и сумрачным, а каким-то непоправимо-радостным, как Пасха. Он омывал - и неприметно смывал точно писанные непрочной пастелью - стены, пол, потолок комнаты. Он сиял, не освещая, но скрывая за собой ненужные предметы, словно существовал уже сам по себе, сверхценный, единственно значащий. И в то же время я различал его структуру - то, чего не видел или не замечал раньше: беглые, как живые, бриллиантово вспыхивающие искорки в ровном статичном потоке, и отдельные острые лучи, жестко пронизывающие светящуюся дымку, и угадываемую мерную пульсацию золотой крови. Все чуть переменялось, словно пока я отсутствовал - миг, вечность, удар сердца - произошло превращение. Мне начинает казаться, что у меня сразу два зрения: одним я исследую наглядную природу света, растворяющего в себе все, кроме самого себя, другим - вижу комнату, изменившуюся неуловимо. Вижу четко и ясно, но отстраненно, словно надев после долгого перерыва очки. В чем перемена, смещение - не уяснить, кажется, переменялась сама геометрия; все такое же, но совсем иное. Комната сделалась как бы более вытянутой - изменился оптический закон, перспективы; но только как бы. Предметы будто вот-вот утратят свои названия. Тайна проступила на поверхность вещей. Это свет! - свет проникает все. Я замечаю некоторое неудобство. Уже несколько времени что-то мешает мне, как камешек в ботинке. Я тщетно пытаюсь разобраться, что именно, и, наконец, понимаю - слух. Какой-то внешний звук царапает слух. Я рад - пусть звучит это несколько по-детски;

так дитя радуется узнаванию нового слова. Это же ключ в замке. Я закрываю глаза, чтобы остаться наедине с всезаполняющим неммым светом.

Когда я вновь открываю глаза, посреди комнаты, у стола, стоит человек в кожаной куртке и смотрит на меня. В одной руке он держит смятую кепку, в другой авоську с какой-то снедью: кажется, там бутылка молока, бесформенные кульки, еще хлеб. Человек смотрит на меня с некоторым сомнением, словно не совсем узнает. Он аккуратно ставит авоську на стол, не отрывая от моего лица какого-то шершавого своего взгляда, и вдруг произносит фразу на незнакомом языке; но мне совсем не хочется с ним говорить. Я хочу закрыть глаза, но, точно узнав мое намерение, он с угрожающей быстротой подходит к моей постели, склоняется надо мной, беспокойно и ищуще заглядывая мне в глаза. Его белое широкое лицо заслоняет оставшийся мир. Я тоже знаю, чего он хочет, ведь я даже знаю, кто он. Бледная тень ужаса, как тень рыбы в глубокой воде, мелькает в его лице. "Э, - говорит он, - ты что, нет, - теперь я понимаю его слова, слова вообще возникают в моем мозгу, минуя слух, потому что от них уже нельзя защититься. - Ты что надумал? Не теперь. Слышишь? Ты слышишь меня? Ты не уйдешь - так, - гримаса досады и боли искажает его лицо, кажется, он схватится рукой за сердце сейчас. - всю жизнь уходил, но сейчас - нет. Я не позволю тебе. Ты слышишь? Ты слышишь меня? - он говорит нарочито раздельно, хотя и торопливо, с сильным придыханием, роясь взглядом в моих беспомощных глазах. - Ты! - ты всю жизнь прятался в себе, мечтательный палач. Ты жил, будто... будто пил кофе со сливками. Вкусно? А ведь ты прекрасно знал правду - и благодушеествовал, придумывал себе игры, онанист, лгал себе - и весь мир хотел в ложь превратить - фантазер! Играть в детские кубики с окровавленными руками? Слушай: ты все знаешь! Но я скажу тебе, я - свидетель, чтобы ты не солгал - там. Все время тайно рассчитываешь на милосердие, так? Руков более достоин милосердия, чем ты. Ты, только ты убил Венечку - он же не умер там, как тебе передали и как ты убеждал себя, чтобы совсем забыть в конце концов /а ведь знал, знал! / - Венечка покончил с собой! Я не говорю о том, что ты разрушил мою жизнь, превратил все в бесплодный прах, так - быть может я и сам распорядился бы с ней подобным образом. Но Ксения! Ты убил и ее, тогда. Все эти годы она жила только болью, не твоим расковыриванием болячек, не твоим выдуманном страданием, жирный игрун, но мукой - ты знаешь ли, что такое нескончаемая мука, жизнь-мука? Да ты ведь не способен чувствовать боли, ничего, кроме сладкой душевной щекотки - иначе бы ты не жил, - взгляд его неподвижен, как у мертвеца или рептилии, я хочу оста-

новить его, сказать: "Не надо, Разман", предупредить, уберечь от непоправимого, но не могу вымолвить слова, вдруг ощутив собственный язык, как безводную пустошь. Я не могу пошевелиться, тело где-то вне - предмет, посторонний предмет, и всякое усилие гаснет внутри, не родившись, словно отсыревшая спичка, даже слезы бессилия не выступают на тяжелых неторопливых глазах. Я только туго скашиваю их и, кажется, хриплю глубоким чужим голосом. Разман смотрит на меня с ужасом и отвращением. Он сам уже почти хрипит, грузно опираясь на край кровати. Разман хрипит: "Кто позволил тебе мучить людей? Ты ведь никто, даже не преступник. Никто, дыра, яма, отрицательная величина. Оторванный кусок ума - без любви, без сострадания, без совести. У тебя нет души. Слышишь, благостный труп? И тебе не будет прощения - некого прощать. Ты - самовлюбленный коллапс, ты сам зарос собой, как соединительной тканью. У тебя нет души, тебя и убивать не стоит, Авель, - Разман тяжело отваливается от лежащего на постели, отшатывается назад и в сторону с потемневшим, опавшим внезапно лицом, оно стремительно теряет всякое выражение, точно гаснет; только в уголках губ - то ли выродившаяся ненависть, то ли какая-то жестокая жалость. - Тебе нет прощения, умирай," - он резко отворачивается, нахлобучивая кепку, - солнце вспыхивает в скрипнувшей коже искривленным бликом. Он уходит неестественно прямо, точно на непритертых протезах, точно едва удерживая равновесие на предательски-шатком паркете исчезающей комнаты, широким и деланно-твердым шагом. И уже от порога Разман оглядывается по-волчьи, через плечо - но видит только громадное смертельное солнце - и никого.

Он минует коридор, сумрачный, точно прикрывший веки, и выходит на лестницу. В парадном прохладно и тихо, как в храме, только сыроватые шахматные лестничные площадки лоснятся от солнца, безмолвного и сосредоточенного, словно ребенок, играющий сам с собой. Он выходит во двор, квадратный и пустой, - пространство будто бросается на него, так что он замирает на мгновение от неожиданности. Он забывает все, что было - давно и только что, словно слепая сияющая непроницаемая стена возникает за спиной. Деревья, обступившие асфальтовый прямоугольник, высоки до головокружения и обнажены сквозят холодной синевой. Где-то незримо кричат играющие дети. Холодное солнце настигает его и здесь, слепа меловой белизной асфальта. Теряя направление, он делает несколько шагов и вновь останавливается, наклонясь вперед, удивленный - будто услышал, наконец, правду. Он видит мелкую сетку трещинок в асфальте, и какое-то простое насекомое бесцельно, но устремленно спешащее по каменистой плоскости. Он что-то

говорит беззвучно - никто не слышит, даже он сам - и как-то по-дирижерски вздергивает локти, точно постучит сейчас палочкой по попитру. Бледность, как свет, стремительно заливает его лицо, и сквозь эту бледность, свет, он начинает валиться вбок, уловив ощущение падения, как мгновенное ощущение полета.

Пуля, предназначенная Разману, настигла его и влетела прямо в сердце.

Тем временем я, миновав простое и страшное, как в кошмаре, строеньице морга, выхожу на заросший сорняком пустырь. Мы часто играем здесь, на этом потаенном лоскутке ничейной земли за больницей - он тянется от задней слепой стены морга до полуразрушенной кирпичной ограды, но когда стоишь в центре его, среди высокой пахучей дурманной травы, запрокинув голову, - не имеет границ. Мы все побаиваемся хирургического корпуса с кровавыми бинтами на свалке, и игрушечного домика неживых, и еще больше, пожалуй, ободранного куцега садика, в котором сидят и стоят малоподвижные, словно пластилиновые, люди в одинаковой одежде с одинаковыми лицами. Но здесь - мы называем этот заколдованный клочок земли словом Место - все само по себе, ни для кого, и сам, играя, кажется, теряешь себя - легко, страшно и радостно, как падение во сне. Сейчас, на закате, солнце уже почти скрылось, и свет идет низом, по касательной, ложится багряным и лиловым остывающим отсветом в траву, меняя масштаб - и она словно сама источает теплый свет, живой и странный, будто тоже ничей. День - для людей, а сумерки - для этого промежуточного маленького и безграничного мира травы, камней, насекомых. Время превращений. Трава стоит, распрямившись, и пахнет особенно сильно, запах - ее сигнал, а в ней, стрекоча, копошатся бесчисленные невидимые создания. Здесь, возле кучи битого кирпича, охваченной закатным огнем и оттого похожей на древние развалины, безымянные руины, а не на брошенный строительный мусор, я встречаю мальчика и девочку. Они брат и сестра; мальчика я знаю, зовут Миша, но имя девочки не могу вспомнить. Она в легком платье с фиолетовыми мелкими цветами, у нее мягкий гаснущий голос, совсем не детский, но и не взрослый вовсе, удивительно знакомый, хотя я уверен, что никогда не слышал его прежде. Миша ниже ее почти на голову, он молчит и крепко прижимает к груди белого кролика. Зверек прядет ушами и косится на меня розовым глазом без интереса, будто меня здесь нет. Девочка говорит что-то, но слова ее не имеют значения, я не запоминаю их, важен только сам звук дружелюбного голоса, негромкий и внятный, от которого мятно холодит сердце. Отчего-то я не могу взглянуть на них прямо, словно зыбкая тень сумерек скрывает их целомудренно, я гляжу вниз и немного в сто-

рону, не решаясь поднять глаза, лишь краем зрения, как белый кролик, вижу два светлых лица в текучем сиреновом воздухе вечера. Миша делает несколько шагов вперед и садится на корточки, острые худые лопатки топорщат белую рубашку с короткими разлетающимися рукавами. Мне больно смотреть на эту хрупкую, нескладно припавшую к земле фигурку - так больно смотреть на человека, о котором знаешь, что он скоро умрет. Голос девочки звучит успокаивающе и повелительно одновременно, но мягко, как приказ сестры милосердия принять лекарство. Миша выпускает кролика. Тот несколько долгих секунд сидит неподвижно, прижимаясь к земле, а потом неожиданно и легко срывается с места, летит над жесткой травой и оранжевым крошечным кирпичом, смешно вскидывая задние лапы, точно разбрызгивая алый закатный свет, летит стремительно будто сейчас, в горизонтальном полете, спасительном бегстве, он превратится в какое-то другое волшебное существо. Высокая заросль смыкается за ним, шурша, он пропадает без следа, комочек комочек испуганного сознания, исчезает за гранью зрения, слуха, за границей меня - навсегда. Я не могу оторвать взгляда от мирно пылающей фиолетовой травы и колеблющегося облачка потревоженной мошкары над ней; зверек унес что-то с собой. Но в эту секунду звучит настойчивый голос девочки, он проникает даже не в мозг, а прямо в грудь, как осколок стекла, но безболезненно, потому что именно ко мне он и обращен. "Тебя зовут", - говорит девочка. И в то же мгновение я слышу этот немой зов, - кажется, и без слов вовсе пропитавший все окружающее пространство. "Мама?" - мелькает испуганная радостная догадка - ведь мне давно уже пора домой. Я поворачиваюсь к ним спиной, в этом нет неблагодарности, в этом - исполнение, и срываюсь с места, бегу, лечу на этот оклик, беззвучный, как вспышка. Это и есть свет. Он не течет, он возникает - бесконечное возникновение - ширится, затопляя все поле зрения, все поле мира. Я не могу пошевелиться; то ли у меня ничего не осталось, кроме глаз, то ли вообще ничего нет, кроме света. Даже слуха, хотя где-то в этом ширящемся сияющем потоке возникает голос /но ведь он уже не имеет отношения к жалкому вздрагиванию барабанных перепонок/, знакомый, как голос Размана, читающего мне из Евангелия: "Тогда, если кто скажет вам: "Вот здесь христос, "или там", - не верьте." Хотя я знаю, что Размана нет, быть может это лишь эхо - эхо Размана, меня, истины. Свет омывает меня, растворяя всякую тень, дышит, вздымает, как золотая волна, не то что бы, как живой, нет, но - более, чем живой. Не радость испытываю я /не страх тем более/, что такое радость - жалкий нагловатый усик вьюнка, проклюнувшийся из почки сердца; она всегда в какой-то мере самодовольна, но какое самодовольство

могу испытывать я - теперь? Это чувство /чувство ли? состояние?/  
бесконечно больше меня, и оно - мое. Не знание - превращение. Я  
не могу сказать, что знаю истину - я стал ею. Точно распятый - и  
воскресший. Я проиграл все - там, но ведь победа и поражение - две  
стороны одного; и там все проигрывают. Я недостойн милосердия.  
Я не достоин даже справедливости. Но я - здесь! - и я спрашиваю  
немым языком, умершей речью: "Смерть, где твое жало? Ад, где  
твоя победа?" Разман был прав - и потому смертельно ошибся.  
"Разман! - говорю я /немым языком, умершей речью/. - Смотри!"  
Или просто "Разман!" Мне все кажется - и ведь я знаю; что только  
кажется: там, дальше, у окна, стоит кто-то невидимый, спокойный  
и ждущий; невидимый оттого, что сам еще более ослепителен, чем  
свет. Реальность едина, правда только одна. Она не у тебя, Разман,  
не у меня, она - там, и больше у меня нет слов. Слова кончились.  
Сентябрьский свет заполняет дом. Я жду. Я лежу и жду Размана.



Максим ШЕВЧЕНКО

Пьяные словом "жить",  
Угрюмые от  
Осознания любви к человеку,  
Кому мы нужны?

Кто причастится пыли земной  
И не сподобится благоволенья?  
Верьте, пройдут над погибшей страной  
Пыльные бури второго явления!

Небо по звездам, люди по снам  
Или по линиям мокрой от пота  
Левой ладони. Как же быть нам?  
Нам, усомнившимся в святости Лота?

Друг мой, безумие бродит в ночи!  
Чистит винтовку, шепчет вполголоса:  
"Где ты? Откликнись...Заплачь...Закричи..."  
И у безумия мокрые волосы.

\* \* \*

*Кто создан из камня, кто создан из глины...*  
М.Цветаева

*Две медных монеты на веки,  
скрещенные руки на грудь...*  
Г.Адамович

1

На площади тесной (Ты слышишь!) смеются и плачут.  
Прости бессловесных, они не умеют иначе.

От тверди небесной обрушились мертвые хляби.  
"За что же опять?" – поднимаясь спрошу Тебя, Рабби.

Прижавшись друг к другу, находим свое утешенье  
В сближении губ или в том, что вокруг разрушенья.





Но, как оторвавшись увидим, что это напрасно?  
Что кровь стала краской, давно перестала быть красной?

Выходит не смерть, не тоска и не песня - постыдная боль.  
Под стук сапога по мозгам да по клавишам пыль.

Взрывается, Господи, царство твоей тишины!  
И мы избирать себя больше в себе не вольны.

## 2

Подними лицо, чтобы свет погас,  
Чтоб глаза в глаза не хватило глаз,

Чтоб на выдох-вдох, как на смертный стон,  
Приходила смерть, а не вечный сон.

Приходила смерть, точно ей одной  
Твой последний вздох то любви земной,

А что мир замолк, не поверь ему!  
Это он отполз, аки волк во тьму.

Это он отполз, ты остался. Нет,  
Твой погасший свет, то еще не свет!

Пятаки к глазам, да свеча на грудь...  
Собирайся! Нам еще долгий путь.

## 3

Под желтый цвет, на тыщи верст окрест,  
Отчалить с Богом из этих мест.

Менять обличья, менять имена,  
Испить от крови стакан вина.

Дорваться до сна, не суметь уснуть,  
На перепутье избрать не путь.

Всего по горло, а ночью свет.  
И так до смерти, семь тысяч лет.

По нашим дорогам метели, метели...  
Мы целую ночь в духоте просидели.

Мы очень устали, мы точно забыли,  
Кто создан из почвы, кто создан из пыли.

По наледи скользкой дойдем до границы  
Стекла, за которым теряются лица.

Теряются лица и сны беспробудней  
На улицах смерти, на улицах будней.

На наше молчанье дождемся ответа.  
Для света не важно отсутствие света.

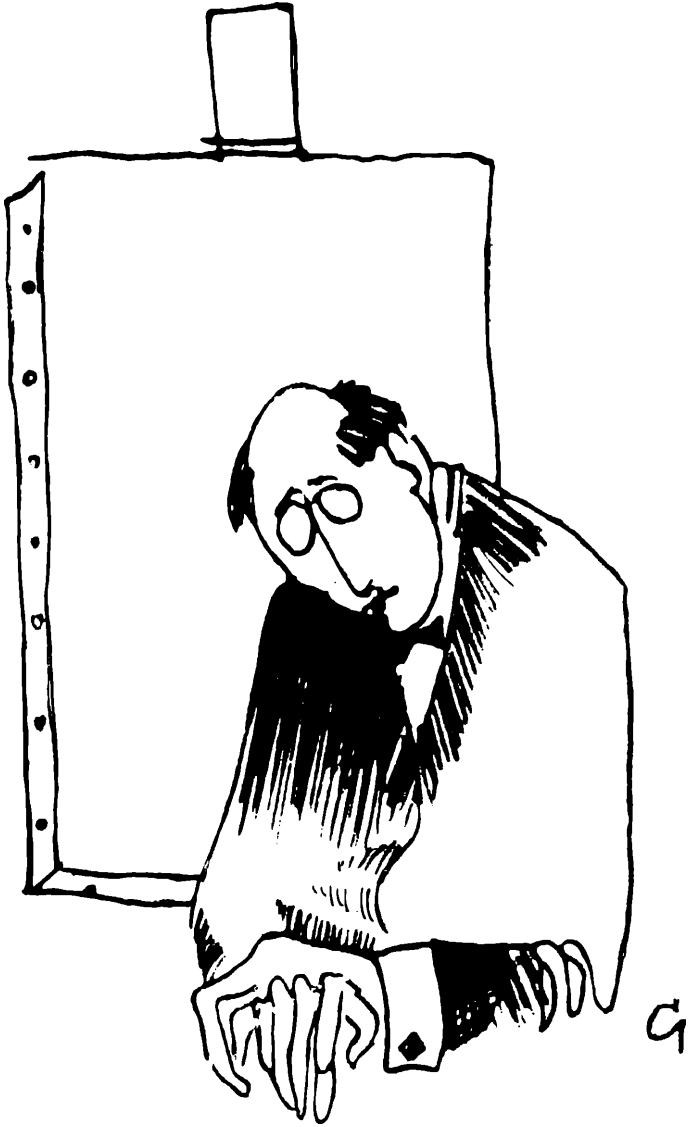
Дождемся ответа и двинемся с Богом...  
Кого нам бояться по нашим дорогам?

\* \* \*

Не пожелать живую воду,  
Дорогу, женщину, свободу...  
Но я не в силах не желать  
Чужую часть чужого света,  
Чужую власть над кем-то где-то,  
Чужую дочь, чужую мать.

Сады поражены плодами.  
Мы пробираемся садами.  
Нам нет спасения от глаз!  
Нам нет надежды, нет спасенья!  
Любовь и вера в Воскресенье  
Оберегающего нас.

Я б стал дорожными столбами,  
Пробитой камнем головой,  
Бессоницей, разрыв-травой,  
Когда я не был бы тобой!  
Ведь я крестил тебя губами,  
Ворованной водой живой.





## ГУМАНИТАРНЫЙ ОТДЕЛ

Гуманитарные проблемы чаще всего связываются сегодня с проблемами прав человека. Подобный юридический подход выдает всю беспомощность современного сознания при решении универсальных, принципиальных вопросов бытия.

Ни произвол, ни закон, ни социальная вера не в состоянии изменить природы вещей и сущности мира. Законникам и реформаторам давно пора стать внимательными наблюдателями, воспринимающими жизнь не как материал для сомнительных преобразований, а как постоянно обновляющуюся задачу, причем задачу не только интеллектуальную, но и духовную, которую нельзя ни окончательно решить, ни раз и навсегда сформулировать.

Гуманитарные проблемы - это проблемы человека в мире и мира в человеке. По природе своей мы не можем жить, не зная, кто мы такие, куда идем, зачем существуем. Абсурдность мира, постулируемая атеистическим экзистенциализмом (единственным последовательным видом атеистического философствования), самоубийственна для личности и губельна для культуры.

Человеку свойственно отождествлять себя с целью, временем и пространством. Для живущих в России в последней четверти XX в. многое видится с предельной ясностью. Мы исчерпали возможности социального эксперимента, и забвение этого итога грозит нам окончательной катастрофой, озверением, т.е. отнятием благодати, торжеством абсолютного нуля.

Рассматривая последние 70 лет нашей истории, мы исходим из того, что они были тяжелыми, но не катастрофическими по последствиям, т.е. культура существовала и информация передавалась, пусть порой и в причудливых формах. Именно поэтому, если сегодня мы станем огульно отрицать все выводы и методические разработки марксисткой и не чисто марксисткой советской общественной науки, не будем даже и пытаться отделить плевелы от первосортного зерна, мы не только не наведем мостов меж десятилетиями и девяностыми годами нашего столетия, но и окажемся перед лицом новых разрывов и деформаций. Зло, впрочем так же, как и идеал, не может безраздельно господствовать в истории, а значит, чтобы вернуться к бытийственному пафосу отечественной мысли, нельзя умалять ни опыта, накопленного несколько старомодно рационалистическим советским гуманитарным знанием, ни достижений западной философии и социологии.

Состояние нашего общества в последние годы внушает большую тревогу. До сих пор нам демонстрировали только искусные манипуляции устойчивыми клише, попытки вытеснить одни дог-



мы другими. Чтобы не допустить гражданской войны, чтобы, разочаровавшись в практике превращения человека в орудие, не превратить его в постоянно орущего и требующего потребителя, необходимо во всех сферах жизни остановить разрастающуюся как раковая опухоль политизацию сознания, понять наконец, что есть более высокие задачи, нежели умножение товаров в наших лавках, и, если руководствоваться этими задачами, то и экономическое процветание станет более вероятным.

Открывая Гуманитарный отдел журнала ТВЕРДЫЙ ЗНАКЪ, мы надеемся прежде всего своими скромными силами способствовать бережению и расширению духовного пространства России. Именно эту цель будем мы преследовать, способствуя возрождению и развитию традиции свободного, не наукообразного философствования, вводя в оборот полузабытые или труднодоступные работы русских и иностранных авторов, давая под рубрикой ХРОНИКИ бытийственную интерпретацию событий текущей жизни.

В рамках христианского подхода всякое развитие (будь то жизнь человека или историческое бытие) мыслится как непростая работа по преодолению отчуждения от Истины, "невидимая брань", позволяющая через снискание благодати победить свое "эго", пристрастие к самодостаточности, меньшему добру. Символ такой животворящей победы заложен в самой Жертве Христовой, и путь всякой культуры лежит через постоянное самоотречение - от человека к общине, от общины к народу, от народа к человечеству и от человечества к Богу, ибо так откроется вам свободный выход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа." / 2 Петр, 1, 2 /

Мы убеждены, что свободная словесность может еще послужить и идее Истины и делу общероссийского всенационального возрождения.

А.П.

## ВОСКРЕСЕНИЕ ЧАЕМОЕ ИЛИ ВОСХИЩАЕМОЕ ?

На исходе XX века на судьбы человека и человечества возможны два последовательных взгляда. Первый, отстаиваемый по преимуществу наукой, предполагает, что путь, проделанный человечеством за тысячелетнюю историю в качестве движущей пружины, имел объективные законы развития природы и общества, познание которых делает человека хозяином собственной судьбы. Будущее видится при этом производным от достижений технического прогресса, мыслимого как орудие господства разума над слепыми и косными силами природы. Это путь конфликта человечества со Вселенной, ведущий к изоляции человеческого сообщества от остальной природы. На долю индивида, общества, всего человечества выпадает дилемма: либо "урвать" у природы очередное сомнительное "благо", либо погибнуть, столкнувшись с непреодолимыми препонами, большая часть которых есть результат жизнедеятельности человечества за последние столетия. Экономический кризис - энергетический кризис - экологический кризис - ?.. Могущество нищеты, восхищаемое от ущербности, с вариациями материализованных форм - грудом металлического лома и продуктов распада, оставляемых позади, - вот бессмертие во плоти. достигаемое на этом пути!

Тому, кто не стремится к могуществу, личной или социальной выделенности, что оставляет "рваческий" взгляд на мир и место в нем человека? Уныние? По загадочной прихоти природы человеку оказывается мало "воплотиться в пароходы, стройки и другие важные дела..." Ему необходимо также осознание себя частью природного целого, интуиция добра и зла, вера в то, что его земной путь, как и земной путь человечества, имеет цель и высший смысл.

Если мир - без цели и жизнь - без цели, то не все ли равно?

Так на исходе XX века обстоит дело со скрепляющей идеей, без которой переход ноосферы из бессознательного состояния к сознательному невозможен, ибо сознание предметно и предполагает всегда осознание какой-то цели, т.е. видение нового качества.

Второй взгляд диаметрально противоположен первому, т.к. исходит из признания наличия внеположенной миру силы, коей все и движется. Эта сила диктует миру его законы, являясь сама "causa finalis" всех природных процессов. Признавая над собой и своей судьбой власть такой силы, человек и человечество ограничивают свою "самость", единяться с природой, сохраняя веру в будущее новое качество мира, к коему тот движется сознательно и целе-

направлено. Личная судьба, как и судьба Вселенной, в таком случае обретает изначальную финалистическую значимость, "оправдывается перед лицом" трансцендентального начала, без которого все построение человеческой мысли утрачивают свой корень в объективном мире, как внеположенном уму, становясь замком, возведенным на песке иллюзий человеческой чувственности.

Вдумчивый читатель возразит мне, что предложенная парадигма понуждает к выбору между верой и разумом, религией и наукой, лишь заостряя конфликт между ними. Так это лишь на первый взгляд. Конфликт веры и разума - конфликт исторический, в котором угадывается конфликт двух эпох. Но стоят они в одном ряду, являясь ступенями лестницы. И взирая на них с высоты следующей ступени, - не парадигма ли возвела нас на эту высоту? - нельзя не увидеть их фундаментального единства.

Религиозное мировоззрение тяготеет к догмату, истины откровения - есть полное знание и не нуждается в проверке. Здесь - самодостаточность, монизм, устремленность в трансцензус. Научная картина мира подвижна и в силу своей переменчивости далека от завершенности. Истины науки проблемны и, чтобы обрести статус закона природы, нуждаются в экспериментальной проверке.

Связь и связность двух мировоззрений в том и состоит, что поре восхождения от дольного к горнему пришла на смену пора нисхождения от горнего к дольному; кристаллизацию форм духовного опыта сменила собой материализация этих форм. Религия шлифовала духовное око человечества. На поприще богопознания душа обретала способность осязать трансцендентное начало. Развивая телесные очи человечества, наука прикасалась оком /вскормленным предыдущей эпохой/ к трансцендентному душе материальному началу. Там, где раньше кофликт с миром разрешался посредством самоограничения инвалида и социума, где "Царство Божие" обреталось в имманентной сознанию сфере, он разрешается теперь за счет мира и посредством мира.

Признавая трансцендентное начало, мы покоряемся его авторитету, признавая законы природы имманентными миру, мы бунтуем против трансцендентного начала, подменяя его собой. В религии мы - с Богом без мира, а в науке - с миром без Бога. Но умная молитва и деятельное подвижничество лишь два пути, ведущие к одной цели: бессмертию во плоти. И то, в какие формы отливает бессмертие эпоха - кристаллизуется ли духовный опыт, или материализуются формы духа - не заслоняет сути происходящего: Слово становится плотью.

"Но, - возразит скептик, - две эпохи несовместимы, как не совместимы трансцендентное начало и имманентные законы приоро-

ды. Мироззрение современного человека научно, а наука не располагает фактами, говорящими в пользу существования Бога. Внеположенные миру силы - это старые "байки", место которым на кладбище мысли". Не будем поспешны в выводах. ведь парадигма только еще нащупана, и снять ее можно, лишь доказав бытие или небытие Божие средствами науки. Приступая к разрешению этой сверхзадачи, я бы хотел договориться с читателем вот о чем:

Пусть речь пойдет не о Боге - добром дедушке с седой бородой, грозящем пальцем тем, кто не любит манную кашу. Пусть мы поговорим о новом качестве мира, которого хоть и нет, но его можно помыслить как "иное" нашего мира, его противоположность. Будем понимать также, что это "иное" влияет на мир, как его конечная движущая причина. И если мне в конце концов удастся показать, что "иное" все же являет себя в мире, хотя бы однажды, и наука располагает на сей счет достоверными фактами, то не согласится ли читатель с тем, что мне удалось доказать бытие Божие средствами науки?

Существует такой фундаментальный факт: клетка в процессе деления образует две клетки, и другой, не менее фундаментальный: два самостоятельных организма могут продолжить себя и создать себе подобный, лишь если две клетки сольются и образуют одну. Только благодаря этим двум фактам мы можем представить и описать жизнь как континуум: митоз дает этот континуум на уровне организма, оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом - на уровне поколений, и оба в чередовании воспроизводят жизнь в полноте и непрерывности.

Как в эмбриогенезе на последующих ступенях развития организма в скрытом виде присутствует первоклетка, из которой произошел данный организм, так и в оплодотворенной яйцеклетке в скрытом виде содержатся родительские организмы. Причем, если явлен "Отец" /предковый организм/, то сокрыт "Сын" /организм потомка/, и наоборот. Между сокрытым и явленным существует естественная, а не сверхестественная связь: они связаны пространством и временем. Осознание этой связи есть построение такой картины мира, в которой два основных фундаментальных факта жизни, в единой пространственно-временной системе мировосприятия исключают друг друга, все же выступили в совокупности. Только такая картина действительности могла бы претендовать на то, чтобы изобразить жизнь как процесс.

Но именно жизнь-процесс во все времена в равной мере интересовала человечество, а описание чего представляло собой ядро всякого позитивного знания о мире и человеке, на которые была ориентирована сама человеческая деятельность. В этом онтологич-

ческом статусе знание выступало как "Дух Святой"/Наука, а в широком смысле - информация/, связующий истину явленную с истиной сокрытой: "Отца" с "Сыном".

"Духом Святым", "Логосом", "Наукой" явленное и сокрытое связуется как Единое и Многое. Если явлено Единое: клетка, организм, популяция, биоценоз вся живая природа, то сокрытым представляется Многое: совокупность всех внешних Единому факторов, через которую и строится описание Единого как целого. Если же, напротив, описывается целокупность, то описание строится изнутри, через ее элементы: клетки, организмы, популяции, биоценозы, которые выступают в данном случае в роли сокрытого в его отношении к явленному Единому-целому. Многому - частям Единого-целого: клеткам, популяциям, биоценозам, - при этом приписывается ряд свойств элементов Системы, функционирование которой строится, исходя из положенной в основу операции. Моделирующая такое описание мира теория Геделя о неполноте показывает, что живое в его отношении к неживому - есть открытая система, а происходящие в ней процессы - суть творчество.

Формализованное описание живого как системы посредством ее элементов с выделением набора операций, позволяющих выделить в нем тот уровень и тип существования, предполагает исходные посылки, два взаимодополняющих взгляда на мир: преформизм и эпигенез.

Последовательный преформизм требует признать, что, во-первых, в оплодотворенной, но еще не делившейся клетке содержится весь человеческий организм или организм животного, на разных стадиях своего развития тождественный этой первоклетке./Единое-первоклетка тождественна Многому: каждой производной или "считанной" с него форме. В явленном, "Сыне", есть все сокрытое, "Отец"./ И, во-вторых, в этой же первоклетке содержится весь род человеческий, вплоть до Адама и Евы, в лице прямых предков данной особи-клетки. /Единому, "Сыну", тождественна совокупность предков, выступающих в "синтетическом" виде как Многое, "Отец". /Более того! Если придерживаться дарвиновской теории эволюции, представляющей жизнь на Земле в виде "эпигенеза", нет основания "отвергнуть" всех обезьяних предков человека, ящеров, рептилий, и так - до первой клетки, положившей начало существованию жизни на Земле. Последовательность требует признать и некоторую "тождественность" не только любой и каждой клетки данного многоклеточного организма, что безотносительно, поскольку нашло экспериментальное подтверждение, например, в опытах Гердона по пересадке клеточных ядер, но и тождественность любой и каждой первоклетки того или иного организма организ-

мам-первоклеткам всего существующего в природе набора видов разных эволюционных уровней, что можно лишь непротиворечиво мыслить, не надеясь на экспериментальные доказательства.

Признав "Творение", т.е. зарождение жизни на Земле, мы обязаны признать и то, что через Первоклетку, положившую начало существованию живого, все живое находится в родстве и противостоит неживому, как Единое - Многому, порождается этим Многим, которому, однако, изначально приписывается главное свойство живого: порождать. Многое-неживое выступает здесь по отношению к Единому-живому как "Отец" к "Сыну". Явленное, "Сын", описывается через сокрытое, "Отца", но для построения стройной и непротиворечивой картины мира их "надлежит" /другого приема у нас нет/ поменять местами: нужно рассмотреть Многое как Единое-целое, Вселенную. И живое, ранее видевшееся целым, представить частью Вселенной, сокрытое увидеть явленным, а явленное - сокрытым, и описать элементы системы через систему, полагая, что всем элементам ее присущи общие свойства, заданные аксиоматически.

Таким образом, "a priori" признается, что система-Вселенная потенциально, в скрытом виде, еще до появления в ней живого вещества уже была не системой-механизмом, а системой-организмом. Оппозиция "живое - неживое" снимается конечным /или предначальным?!/ отождествлением порождающего и порождаемого, "Отца" и "Сына".

Максимизируя парадоксальность предлагаемого способа постановки проблемы, мы, наконец, утверждаем следующее: если из данной наличной первоклетки восстановить всех прямых предков, то воссоздана будет какая-то часть Древа Жизни во всех основных и промежуточных звеньях от его корней /Первоклетки Земли/ до кроны/ т.е. нас или того, с чего мы начинаем/. Прodelав то же самое со всеми существующими в настоящий момент первоклетками людей, мы могли бы получить едва ли не все богатство жизни и метаморфоз.

Итак, нами установлен факт существования непрерывного, замкнутого в прошлое и открытого в будущее потока живого вещества, испытывающего воздействие мертвой Вселенной, мертвой потому, что ленту реки жизни мы из нее мысленно исторгли. Рассмотренное с эволюционных позиций Мировое Древо, как и в мифе о грехопадении приносит нам разочарование, ибо плоды его - смертны. "Древо Жизни" - увы! - оказалось "Древом Познания Добра и Зла", с плодами которого в мир приходит сознание смертности, - мы потеряли Рай, вместо того, чтобы найти его. Теперь и пришла пора вернуться к парадигме.

Полагая, что все живое смертно в этом мире, мы в качестве "иного этого мира" должны положить бессмертие, противопоставляя "закону грехопадения", царящему в нашем мире, "закон искупления и воскресения". Итак, наше "иное" есть бессмертие смертного мира, видимое также конечной движущей причиной и целью развития.

Считая конечной целью человечества всеобщее воскресение мертвых во плоти, но подходя к этому научно, мы должны представить мысленно некий эксперимент, который, совпадая масштабами с процессами нашего мира, оказался бы направленным противоположным образом. Не меняя исходных позиций, мы могли бы обратить вектор времени. Что бы это было?

Нашему взору открывается картина, некогда изображенная великим Платоном в диалоге "Политик"... Подобно Адаму, созданному из глины, люди рождаются из земли стариками, молодеют, чтобы затем младенцами сокрыться в материнской утробе, и все в мире следует их примеру... В живой природе процессы распада превращаются в процессы синтеза. Живое вещество порождает само себя так, как в сказке: растения, животные, птицы исторгаются друг другом /питание наоборот/ и производят таким образом существа, совершенно отличные от себя. Какое-то место в этой игре фантазии слепой природы принадлежит и людям, но какое - сказать определенно невозможно, ибо истина имеет здесь вероятностный и статистически уловимый характер. Экология и эталогия как бы меняются местами: процессы, воспринимаемые нами как процессы жизнедеятельности, выглядят как процессы рождения всего из всего, хотя и по определенным законам, вернее - с соблюдением законов запрета. То же, что видится нами как процесс рождения и развития, предстает теперь жизнедеятельностью: женщины, подобно инфузориям, "питались" бы телами младенцев, попавших к ним в утробу, и через соитие подпитывали клеточным веществом мужчин, бабочка бы и превращалась в личинку, курица - сворачивалась в яйцо. Болезни исчезали бы в омолаживающих телах, и все живое обществу, неуклонно уплотняясь, сокращалось в размере.

Эта фантастическая картина, проливающая свет на мир сказки, выглядит менее фантастично при переносе ее в мир неживой природы. Вот разлетающаяся Вселенная "сворачивается в свиток", грозя превратиться в точку. Антимир активно взаимодействует с нашим миром: частицы и античастицы, аннигилируя, порождают гиганское количество света... Все "черные дыры" засияли звездами, а звезды превратились в "черные дыры". Вещество исчезает, и проявляется фон мировых событий - вакуум. Обозначенные светом "кристаллические решетки полей", преобразуясь друг в друга, упо-

рядочиваются в сферические тела из тьмы и света. Лишь "ненаблюдаемому наблюдателю" /Гейзенберг/, стягивающему волновую функцию Вселенной, картина мира видится такой, как если бы он смотрел на нее изнутри нашими глазами.

Пусть возможность обратной временной перспективы так и останется всего лишь возможностью. Для нас сейчас принципиально важно, что мыслимо видение мира, противоположное нашему. /"Эпоха Сатурна" в противоположность нашей "эпохе Зевса". И если "иное" этого мира существует, оно "воспринимает" нас так, как это было описано/.

Переход к новому качеству как реальность, или как видимость, т.е. изменением точки зрения на их направленность с изменение оценки их качества /!/ и дает возможность обнаружить факт существования "иного", ибо трансцензус постигаем лишь в момент фазового перехода, когда мир и его "иное" активно взаимодействуют, чтобы затем поменяться местами. Чтобы представить себе это, необходимо поставить мир перед зеркалом его "иного" и описать их вместе со стороны, как это сделано в Апокалипсисе. Но видя мир и его "иное" как близнецов-антиподов со стороны, мы не в состоянии решить: который из них существует реально - "Гильгамеш" ли является картиной мира "Энкиду" или наоборот - сказать невозможно, как невозможно решить: кто из них видит другого изнутри.

Адам вкусил в Раю от Древа познания Добра и Зла и был изгнан прежде, нежели успел дотянуться до плодов второго райского дерева, Древа Жизни. Сорви он его - и смерть была бы над ним не властна, а могуществом он сравнялся бы с Богом. И если мир и его "иное", жизнь и смерть вкоренены друг в друга так, что мы не в состоянии различить - что есть что, то как надлежит понимать это "с научной точки зрения"?

Фазовый переход от жизни к смерти традиционно понимался как отделение души от тела /угасание сознания в "высокоорганизованной материи"/. Неважно, идет ли речь о душе и теле конкретного человека, или о душе и теле цельного мира. Важно, что феномен жизни видится в этом случае, как промежуток, в котором две раздельно существующие субстанции находятся в связанном состоянии. Быть живым - значит находиться в состоянии фазового перехода некоего качества в его "иное", с какой бы стороны мы ни смотрели на процесс перехода и какую бы временную перспективу мы при этом ни выбрали. Очевидно, что жизнь здесь - врата, коими "иное" входит в мир. Остается только придать этой мысли формализованный характер и привести необходимый пример.

Научный взгляд на природу предполагает признание существования в ней прерывности и непрерывности, а также существова-



ние той и другой. Но дуализм вещества и поля, дискретного и континуального, немыслим вне причинно-следственной цепи. То, что развивается, находится под влиянием процесса развития, благодаря чему только и возможна его связь с фоном событий: другими феноменами, заданными тем, что считается в данном случае процессом - процесс "избирает"... Определение группы здесь задает возможный набор операции, а набор операций выделяет группу.

Научный взгляд на мир предполагает также, что все в мире имеет свое начало и свой конец. Генезис форм и их бытование - вот две стороны единой картины мира, если мыслить научно. Но "Мировое Древо" в продольном и поперечном "срезе" выглядит как два различных дерева: картина порядка родства форм и картина порядка их сосуществования друг с другом различны, так что может показаться, будто то, что эволюционирует, /рождается, формообразуется/ - не существует, а то, что существует - не эволюционирует.

Задавая операцию "рождаться" или "существовать /обитать/", мы тем самым задаем группу и определяем топологию пространства, в котором происходит наблюдаемый процесс. При этом "пространство сыновства" предполагает связь с ушедшими поколениями, существование /обитание/ коих - лишь фон, на котором проявляются цепочки, связующие исходную "монаду" с ее множеством. "Пространство братства" воссоздается мыслью: связать исходную монаду с неким множеством, но за счет игнорирования генезиса всего множества, выступающего ненаблюдаемым фоном. "Братство" здесь - множество без прошлого, "сыновство" - множество без будущего.

При повороте вектора времени на  $180^\circ$  основные процессы не только изменяют свою направленность, но и обретут "иное" значение: "рождение" будет видеться как "существование /обитание/", т.е. как взаимодействие в "пространстве братства", а "обитание" предстанет "рождением" всего из всего по законам родства, установленным в "пространстве сыновства". Но ведь так и видит мир "ненаблюдаемый Наблюдатель"! И эта простая зеркальность позволяет заметить, что "родственные узы", связующие современников, выглядят так, как представляется взаимопревращение элементарных частиц, и должны следовать законам запрета! и носить вероятностный /статистика/ характер! Не "описывает" ли наш "ненаблюдаемый Наблюдатель" наше "пространство сыновства" диаграммами Фейнмана?..

Наметив горизонты, открывающиеся наблюдателям над фазовыми переходами, мы могли бы обратиться к живому природному материалу, чтобы на деле развернуть наше доказательство.

Но отдельный частный пример, хотя и "удовлетворяет" требованию, принятому нами для доказательства, однако не позволяет выстроить ряд, что грозит потерей перспективы, ради сохранения которой мы обратимся к сокровищнице религиозно-философской мысли; отыскивая тем самым место наших рассуждений в научной традиции.

Наиболее цельный и последовательный взгляд эволюциониста на природу человека и общества в науке XX века принадлежит Тейяру де Шардену. Согласно Шардену, мир находится в процессе эволюционного становления. Человек - продукт эволюции - последнее промежуточное звено в цепи: Преджизнь - Жизнь - Мысль - Сверхжизнь. Сверхжизнь - это жизнь мира по законам, предписанным ему ноосферой, что возможно будет тогда, когда та обретет свое "Я", т.е. разовьется до нового качества. В этом он видит цель всего эволюционного процесса. Свойство "быть живым" Тейяр де Шарден приписывает всей природе. При этом грань между живой и неживой природой, а также живым и мыслящим стирается посредством такого уровневого разграничения, когда каждому уровню организации материала в соответствие ставится определенный уровень организации сознания. Сознание мыслится широко, как "внутреннее вещей", которое и движит им /т.е. вещами/. Так трансцендентный Бог оказывается имманентен вещи, взятой, как "вещь-в-себе" в кантовском смысле. Линия излома в эволюционной картине мира у Т. де Шардена лежит между Мыслью и Сверхжизнью. Эволюция как бы раз и навсегда обожила отлитые ею формы, лишь мысль не обрела еще предназначенной ей полноты и является областью особого воздействия трансцендентного начала, воздействующего на нее извне, в отличие от всего сущего. Из этого следует, что трагедия этого мира является трагедией его созерцания мыслью: стоит изменить воззрение на мир, - и она исчезнет.

Изложенным воззрениям нельзя отказать в последовательности. Создаваемая де Шарденом картина мира цельна, но не позволяет "ухватить" "механизм формообразования". Новое качество мира связывается им с творческой деятельностью человека, общества, на что возлагаются особые надежды. В природе же, лишенной мыслительных способностей, процессы формообразования видятся уже как бы завершившимися, и воцарившаяся там гармония лишь ждет осознания ее человеком. Отсюда неясны оказываются причины вмешательства человека в жизнь природы как в настоящем, так и особенно по достижении человечеством точки "омега". Трансцензус теряется во "внутренней вещи", т.к. убывание тангенциальной энергии /энтропия/ и нарастании радиальной энергии

/творчество/ связываются не с ним, а с природой как таковой, которой, на самом деле, "уже нет", ибо оставлено только "до" и "после".

Фундаментальное единство мира, в действительности, не искл-клет фундаментальную подвижность одной части природы другой или другим ее "частям", что и обнаруживается в "критических точках" перехода к новому качеству. Жизнь же "не точка", а то, что лежит между такими точками. Примером тому может служить противоположность частиц и античастиц, рождающихся друг из друга и аннигилирующих при встрече. Но коль скоро понятие бессмертия было связано нами с трансцендентным началом и определено как новое качество смертного, лучше прибегнуть к примеру из области живой природы.

Что касается философской традиции, как мы могли убедиться, в данном вопросе она оказалась наиболее уязвимой, ибо проблема фазового перехода для нее /Тейяр де Шарден/ ненаблюдаема по причине отнесенности к прошлому /происхождение жизни, зарождение мысли/ или к будущему /переход к сверхжизни/. Однако, от взгляда естествоиспытателя, чей позитивный опыт в области эмпирики богаче отвлеченных умозрении философа, такого рода факты не могли укрыться.

Еще в 20-х гг В.И.Вернадский отметил и интересно оценил фундаментальную противоположность животного и растительного миров, рассматриваемых с точки зрения "общих" жизненных процессов, но оставшихся без философского осмысления, которому и будут посвящены последующие строки.

Последовательный эволюционизм видит в животной клетке потомка клетки растительной, а животное царство рассматривает в целом как наследника царства растений. Все это - в силу того, что непременным условием существования животных является наличие в атмосфере продуктов распада жизнедеятельности растений, сформировавших наличный состав последней.

В круговороте живого вещества на Земле растения и животные выступают /в последовательности/ звеньями единой цепи, т.е. несомненна филогенетическая преемственность этих звеньев с точки зрения "Мирового Древа". Некогда "рождение" животных организмов из растительных должно было сопровождаться фазовым переходом: глобальной мутацией, происходившей, однако, не на уровне формы, а на уровне процессов, лежащих в самой основе жизнедеятельности растений, и коими все формы этого природного ряда "лепятся" в процессе эволюции.

По образному и глубокому замечанию В.И.Вернадского, растения растут не на земле: живое вещество растительной массы рождается из паров и газов под воздействием солнечного света. Расте-

ния полимеризуют в себе углекислоту, чем упорядочивают атмосферный хаос, превращая жидкое и газообразное вещество в твердое, "сверхструктурированное". Налицо их антиэнтропийная работа. Своим творчеством растения гасят энтропию в неживой природе. /Физик, переводя это на свой язык, сказал бы, что они стягивают волновую функцию атмосферы, превращая последнюю в биосферу./

Трудно строить догадки о том, какие конкретные причины вызвали в растительном мире мутацию коренного процесса роста. Вероятно, это было связано с переизбытком выделяемого ими же свободного кислорода, приводившим к угнетению их собственной жизнедеятельности, /тотальное "окисление" атмосферы/. Можно утверждать лишь, что живая клетка явилась чем-то вроде раковой клетки на теле растительного мира. /"Заболевание" следует - видеть как на уровне питания или дыхания, так и на уровне общей эксплуатации биосферы той переходной поры/.

Приступая к единому описанию циклического процесса жизнедеятельности растений и животных, и переносясь из "пространства сыновства" в "пространство братства", из сферы происхождения в сферу обитания, мы оказываемся перед необходимостью выбора: отказаться от традиционной картины процессов, рискуя потерять привычную связность ее, или согласиться, вопреки фактам, с существующей и привычной, но ложной картиной, обслуживающей цельность нашего видения мира, как бы зыбывая при этом, что процессы, лежащие в основе жизнедеятельности растений и животных, направлены противоположным образом. Не лишне напомнить, что в виду имеется процесс фотосинтеза и циркуляции в био-атмосфере кислорода и углекислого газа.

Полагая, что вектор времени совпадает по направлению с процессом жизнедеятельности, мы попытаемся воссоздать картину жизнедеятельности растений и животных - общую, единую, но так, что либо жизнь растений, либо жизнь животных будет видеться в обратной временной направленности. Под обратностью подразумевается такая последовательность событий, какова она в обыденном сознании.

Животные, таким образом, окажутся в роли "бессмертия" растений. Наблюдая их жизнь в прямой эволюционной перспективе, мы должны зафиксировать изъятие ими из атмосферы свободного кислорода, употребляемого далее для связывания углерода и возвращения его в атмосферу в виде углекислоты. Растения же, чтобы проделать ту же работу, сворачиваются в семена /живут в ритме "эпохи Хроноса"/, и как семена "поражают" завязь других растений, как это делает вирусная частица, инфицирующая клетку.

Связь поколений для растений выглядит при этом как эпидемия, вспыхивающая периодически так, что семя, связуя колонию клеток родительского организма с колонией клеток организма сыновьего, совместно со множеством других семян вызывает в последнем процесс деструктуризации /"сморщивания в семечко"/. Два поколения деревьев или злаков связуют при этом единосущное им семя /оно "рождается" из цельного растения, чтобы вынудить цельное растение "стать" семечком/. Процесс требует участия в нем множества семян, представляющих "не совпадающее" с ними множество деревьев. При этом растение "рождается" как бы всем миром однокоренных ему растений минувшего поколения, а семя по действию напоминает "чудотворные мощи".

Эта до невероятия странная картина интересна прежде всего тем, что аналогия ее с картиной заражения вирусом клетки придает ей онтологический смысл. "Антиэволюция" покрытосемянных или злаковых /пример произвольный/ по загадочной причине воспроизводит картину "размножения" вируса, если в классическом описании изменить вектор на противоположный. Если описание того, как происходит инфицирование, дополнить его зеркальным близнецом, то окажется, что один вирус связует собой две клетки, выступающие в отношении его неким сверхорганизмами, один из которых, "рождая" вирус" /обратная перспектива/, сам при этом "воскресает", а другой, приемля его смертоносное семя, умирает, превращая при этом клетку в колонию вирусов.

Не менее интересна и другая аналогия. Взаимодействие растений посредством семени удивительно напоминает взаимодействие живого вещества в сверхорганизмах. Так муравьи в муравейнике общаются и питаются посредством друг друга и на уровне поколений связуются муравьиной царицей примерно так же, как клетки многоклеточных растений связуются с клетками другого через семя, куда они "втекают" как в воронку.

Рассматриваемые далее совокупно, растения и животные /чье обратное превращение мы не стали здесь повторять, отсылая читателя к описанию платоновского мифа, но напоминая при этом о равноправии в подходе к тому, чью "обращенность" - растительную или животную - нам интересно видеть при их сязном описании/ мы должны признать, что они как бы взаимно аннигилируют, т.е. что животные являются болезнью растений /и наоборот/. Если профилирующий процесс - фотосинтез и выработка свободного кислорода, то они /животные/ паразитируют на этом процесс, обращая его течение по направленности.

Особенно интересно, что процесс дыхания у животных в растительном мире удовлетворяет функции питания /или антипитания, если смотреть в перспективе "антиэволюции"/.

Эволюционные воззрения "официальной науки" или религиозно-философское осмысление этой проблематики в духе Тейяра де Шардена при обращении их к эмпирике неизбежно требует до-

стройки и дополнения рядом работающих гипотез. К числу последних относится идея дополнить картину эволюционной иерархии форм живого картиной эволюционной иерархии процессов, исторически вырастающих один из другого /например, "дыхание животных" из "питания растений"/. Процесс лепит форму и служит той "гранью" /как это ни парадоксально/, которая отделяет одно качество от другого. Онтогенез и филогенез процессов и выводят нас на ортогенез Вселенной, а естествознанию сулит в поводыри "философию качества", с помощью которой внятными становятся не только морфология Слова Божия, но и его синтаксис, т.е. доступным оказывается общение с Богом в процессе познания тварного мира в его софийности.

То, что, казалось, можно представить лишь умозрительно, на конкретном материале прозвучало как фундаментальный факт природы, из которого я бы хотел вывести сейчас вот какие следствия:

1. Если фундаментальный факт этот имеет отношение не к природе, но лишь к способу ее описания, т.е. характеризует законы мышления, но не бытия, то каково место мышления в иерархии других процессов, если смотреть на них в перспективе эволюции? Не значит ли это, что мы можем видеть мир только так и не иначе? И коль скоро весь прежний опыт человечества в области мышления отличался эффективностью, и в плане бытия рождал одну новацию за другой, не убеждает ли это в том, что успешный научный "эксперимент" по достижению бессмертия - лишь дело будущего?

2. Если подсмотренный нами факт есть факт природы, установленный мыслью, то не значит ли это, что пора такого эксперимента уже настала? Не значит ли это, к примеру, что искусственным путем из колонии вирусов "на питательном аграре" можно вырастить клетку - растительную или животную, если катализировать при этом процессы, обратные болезнетворным? /Здесь я нарочито огрубляю./

3. Если факт природы в нашем случае является одновременно законом мышления, не значит ли это, что пора чаемого бессмертия миновала, и человечество - на пороге эры бессмертия, восхищаемого средствами науки, мобилизующей на то его добрую волю? Не доказует ли это бытие Божие в нас и посредством нас как содержание Сверхжизни?

февраль - март 1985 г.

## МИР И МЫШЛЕНИЕ ИЛИ ГОЛОС

## УПОРСТВУЮЩЕГО ИРРАЦИОНАЛИСТА

"Фома же, один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие." (Иоанн, 20, 24-29). И вот уже несколько столетий мы усовершенствуемся во вложении перстов в раны Спасителя. Мы нашли десятки и сотни доказательств бытия Божьего и в десятки и сотни раз умножили число атеистов, мы тысячью доводов защитили добро и изобрели последовательно инквизицию, концлагеря и душегубки. Увы, это свойство человеческого разума, того разума, который, утратив возможность воспринимать целое, утверждает торжество частного наблюдения, того разума, который, увидев море спокойным и голубым, никогда не поверит, что оно может стать черным и зловещим. "Я знаю только то, что я ничего не знаю" - вот единственно возможный вывод человека, владеющего логикой. Все так называемые "естественные" науки, основывающиеся на опыте, говорят не о предмете и, тем более, не о сути предмета, а о качествах, проявляющихся в тех или иных отношениях этого предмета с другими, если угодно, о феноменах их столкновения, взаимосвязи, т.е. всякое опытное знание говорит нам о свойствах, но ничего о вещи, о движении и силе, но ничего о ее источнике; как бы ни углублялись мы в материю, все равно ничего не узнаем о сущности ее, ничего не узнаем о структуре ее, но только о характере поведения. Да, стереотипы реакций неживой природы на те или иные раздражители более или менее устойчивы, но это отнюдь не значит, что они постоянны. Физические законы, относительность которых нам сегодня уже достаточно ясна, ограничены не только пространством, но и временем, и т.п.

Не мудрено, поэтому, что сама деятельность "падшего" человека чревата распадом и разрушением. Чем более сложные свойст-

ва мироздания открываются нам в своей взаимосвязи, тем больше опасность использования этих свойств. Недеяние, как духовное усилие, расширение "я", преодоление отчуждения человека от Истины противостоит по направлению любому технологическому эффекту, активному вмешательству в структуру мира.

Следует сказать несколько слов и об аппарате опытного знания – мышлении понятиями. В отличие от образов, используемых искусством, пытающихся-таки добраться до реальности, не трансформировать и не объяснить, а констатировать сцепку вещей, понятия пусты, они ничего не выражают, у них нет действительного содержания.<sup>X</sup> Если не становиться на точку зрения средневекового реалиста, следует признать, что мы, увидев случайные взаимосвязи элементов бытия, играем условными символами, придуманными нами для обозначения этих связей, и, тем самым, еще более усиливаем субъективность собственного восприятия. Чем чревата эта игра, которую ученые мужи называли теоретическим мышлением, показывают нам хотя бы грандиозные социальные эксперименты XX столетия. Модные в последнее время экзерсисы на тему теории информации, энтропийных и антиэнтропийных процессов и т.п. – это очередная серия фокусов с логическим мышлением, частным знанием, стремление низвести образ, и в данном случае, Образ Божий, до объекта научного исследования. В этом нет убийства, есть только самоубийство истолкователя, лишаящего себя поэзии непознаваемого, приносящего тайну в жертву любопытству.

Современному человеку скучно в мире ясности и невыносима мысль о собственной ограниченности. Вот и появляются на свет Божий фанаты НЛО, снежных людей, экстрасенсов, поклонники всех этих уродливых объектов культа второй половины XX в., объектов культа, которым именно и следует быть объектами науки, т.е. наблюдения, ибо в них не содержится никакого духовного содержания, никакой надежды.<sup>XX</sup> Когда одного из крупнейших индийских философов – Шанкару спросили: "Есть ли боги?" – он отвечал – "Я не знаю, есть боги или их нет, но это ничего не меняет в моей концепции". Для нас принципиально важна проблема смерти, смысла ее и преодоления, а расширении или сужение Вселенной, археоло-

---

<sup>X</sup> Выводы теории лингвистического анализа, показавшиеся парадоксальными в Европе, само собой разумеющаяся банальность в контексте индийской и дальневосточной философии. Может быть поэтому там и наблюдаются такая тяга к консервации реальности.

<sup>XX</sup> Вера в НЛО и т.п. – разновидность неоязычества, точно так же как и социальные утопии типа фашизма и коммунизма. Люди, будучи не в состоянии, с одной стороны, увидеть Истины, а с другой – вынести абсурд жизни, сочиняют себе надежду на языке века.



гические и геологические датировки, вращение Земли вокруг Солнца и вращение Солнца вокруг неподвижной Земли (разумеется, неподвижной, если мы на ней находимся, относительно нас она-то в покое) не в состоянии изменить что-либо в концепции.

Сама по себе посылка, что мыслимое (это нами-то, сотворенными из праха земного) - существует, вопиет о беззаконии человеческом. Нет, не мыслимое существует, а мы с достойным лучшим применением упорством пытаемся навязать миру плоды наших незрелых размышлений, нагло вторгаемся в неведомую нам гармонию и не испытываем ни трепета, ни благодарности. "Технология бессмертия", будь она найдена, станет куда страшней атомных электростанций или химического оружия, ибо тайна бессмертия - исключительная прерогатива Абсолюта. "И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. (Бытие, 3, 22-24). Мы слишком хорошо знаем, чем кончается убежденность, что вот уже стоим у врат истины, что накануне совершенства, что еще одно движение, и ... Хорошо мы знаем и, насколько были разрушительны все попытки рационального и сверхрационального конструирования религиозной системы на фоне профанического, графоманского "знания".

Истина может предчувствоваться нами, но не доказываться (ср. с высказыванием о. Павла Флоренского о сути православия), и не отрицая частного значения сугубо логического подхода к проблеме смысла жизни и истории, есть достаточно веские основания уповать на то, что бессмертие было, будет и может быть результатом духовного, но никак не интеллектуального усилия.

"Блаженны не видевшие и уверовавшие", но для иных из тех, для кого не самодостаточен Никейский символ, возможно и будут полезными попытки интерпретировать воскресение в терминах современного опытного знания. Однако всегда следует помнить, что любая адаптация есть неизбежно и упрощение, низведения объема в плоскость.

Можно любить женщину на фотографии, но нельзя заниматься с ней любовью и умереть в один день.

Станислав Никольский  
Москва, 1989.

## РАРИТЕТЫ ТВЕРДОГО ЗНАКА

В эпоху, когда разрушаются тенденциозные, навязанные террористическими методами представления о прошлом, когда начинают оплакивать исчезнувшие традиции и полузабытые памятники мысли, имеет смысл перестать любоваться собственной истерикой и начать освоение отвергнутого было материала. Открывая рубрику РАРИТЕТОВ. издатели журнала ТВЕРДЫЙ ЗНАКЪ хотя и облегчить путь от догмы к скепсису и от скепсиса к правде, внести свою лепту в дело восстановления целостности культуры. Не имея возможности осуществить публикацию или серьезное исследование столь большого числа важных и интереснейших работ, мы предлагаем вниманию читателей развернутые обзоры тех текстов, которые очень редки в обращении, отсутствуют в большинстве библиотек и не введены еще активно в оборот современной мысли.

### ЛЕШЕК КОЛАКОВСКИЙ

#### "ЖРЕЦ И ШУТ.

#### РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТЕОЛОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ СОВРЕМЕННОГО СОЗНАНИЯ"

Лешек Колаковский - известный польский философ-исследователь марксизма - родился 23 октября 1927 года в Радоме (к югу от Варшавы). В 1945-1949 годах он был студентом Лодзинского университета, а в 1953 году получил звание доктора философии в Варшавском университете. С 1956 года он - профессор Института философии Польской Академии Наук; с 1964 года - профессор философии Варшавского университета. В 1946 году Лешек Колаковский вступил в ПОРП, из которой был исключен в 1966 году. В марте 1968 года был, вопреки Уставу университета, уволен из Варшавского университета и в декабре того же года начал работать в должности приглашенного профессора философии в Университете Мак-Гилл в Монреале. В 1969-1970 годах он работал приглашенным профессором философии в Калифорнийском университете в Беркли. В 1973 году Л.Колаковский являлся членом Колледжа "Ол Соулз" в Оксфорде. Л.Колаковский особенно интересен советскому читателю, как критик марксизма, долгое время изучавший систему "изнутри", как бывший гражданин государства, которое эту систему приняло за основу. Реферируемая статья не посвящена собственно критике марксизма, но рассматриваемые в ней общие вопросы че-

ловеческого мышления несомненно являются предпосылкой такой критики, равно как и всякие другие вопросы соотношения догматизма (в его худшем виде) и свободы мышления.

*Исследуя историю философии, нетрудно заметить, что основным конфликтом, разрывающим и продолжающим разрывать философию, правда, равно, как и способствующим ее развитию, - является вопрос об отношении к абсолюту. "За или против поисков опоры в абсолюте" - примерно так можно сформулировать сущность этого внутреннего конфликта.*

Лешек Колаковский "Похвала непоследовательности"  
EDIZIONI AURORA  
FIRENZE  
1974  
Реферат Максима Шевченко

В свое время теология поставила серьезнейшие проблемы человеческого бытия, но разумеется исключительно в аспекте бытия божественного. Сами по себе проблемы отношения к абсолюту, то есть к Богу, теологией не ставилась, ибо были "решены настолько положительно, что даже не формулировались". Поэтому сам термин "наследие" мы, очевидно, можем рассматривать лишь применительно к трактовке теологических проблем светским философским мышлением. Что же это за проблемы?

"Пожалуй ничто так глубоко в нас не укоренилось, как вера в моральный закон выравнивания температур, то есть убеждение, что мир, в котором мы живем, придет в конечном счете к такому состоянию, когда зло будет отомщено, а добро вознаграждено, иначе говоря, когда наши ценности получают свое полное воплощение". Разумеется для теологии не существовало вопроса о возможности Страшного Суда, в отличие от философии, так или иначе, но задававшей себе вопрос: "движется ли история в некотором определенном направлении, предвещающем окончательное и справедливое подведение итогов" или нет? И все же можно сказать, что мирская эсхатология скорее "доверяет историческому страшному суду", нежели не доверяет. В конце-концов, разве вера в то, "что несчастья и муки умерших людей будут отомщены историей", что "вековая несправедливость будет исправлена" не свидетельствует об этом доверии? Причем речь идет именно о доверии " исторической справедливости", особенно "начиная с европейского 17-го века, то есть с того момента, когда "История" и "Прогресс" силой сбросили с трона Иегову" и "человеческая история стала неотразимым аргументом в

пользу атеизма". Справедливости ради надо сказать, что "невозможность охарактеризовать и, уж тем более однозначно интерпретировать историю, приводит к сомнениям в возможности эсхатологии". Область философии занимающуюся исследованием этих сомнений можно назвать "философской антропологией", пытающейся найти решение проблемы либо в перспективах трансцендентализма, как это делают христианские трансценденталисты (Ясперс, Марсель), либо в перспективах истории - как марксисты". Существует, правда, еще точка зрения Фрейда и атеистического экзистенциализма о том, что конфликт "между естественными стремлениями человеческой природы и внешней судьбой, запутавшей человека" неразрешим. Мышление мечется между страхом перед утратой "текущих ценностей ради ожидаемых окончательных" и "риском утраты вечных ценностей, когда размениваются на текущие" - "что", в принципе, "может быть банальнее"? Однако, несмотря на банальность такого рода сомнений, именно они являются основным мотивом эсхатологических размышлений философии.

"Следующий вопрос, связанный непосредственно с предыдущим, это вопрос теодицеи... В модернизированной версии это - вопрос о рациональности истории: могут ли несчастья и муки индивидуумов иметь смысл и оправдание в том общем интересе, на котором зиждется исторический процесс?" Традиционные теодицеи учили полагаться в этом вопросе на Божью непогрешимость, современная постановка проблемы - это вопрос о возможности создания "такой интеллектуальной организации мира, в которой известное нам или испытанное зло раскрывает свой смысл и "ценность", как вплетенные в мудрые планы истории". При такой постановке проблемы можно сказать, что теодицея вполне консервативна, если "она оправдывает зло, испытанное людьми, вопреки их воле" или вполне радикальна, если она "санкционирует наше рискованное решение принять активное участие в человеческих конфликтах - на стороне добра или стороне зла", но приходится констатировать, что и в том и в другом случае она становится "методом превращения фактов в ценности, то есть методом, с помощью которого факт перестает быть только тем, чем он представляется эмпирически, но становится кроме того элементом теологически организованного порядка, придающего всем своим частицам особый смысл", что, кстати, является "наследием магического сознания", ибо "убеждение, основанное на вере в некоторые невидимые и скрытые черты неприятных для нас событий, благодаря которым они включаются в разумный порядок Вселенной и приобретают тем самым ценность... относится к тому же самому типу, что и вера в ценность магических заклинаний". Надо добавить, что в данном

случае" критика является не самоцелью, а лишь констатацией тех пунктов в которых мышление, даже современное светское мышление, вынужденно отрицательно или положительно отвечать на вопросы, выросшие на почве не только теологической, но и дотеологической, то есть магической традиции".

"Вера в теодицею, как и вера в эсхатологию - это попытки найти для нашей жизни опору и смысл вне ее, и при этом опору и смысл, имеющие свойства абсолюта, становящегося моральной поддержкой", благодаря тому, что является поддержкой метафизической, а значит благодаря тому, что в метафизической конструкции мира индивидуумы выступают как его проявления и лишь таким образом становятся понятными".

Роль абсолюта, однако, "еще более непосредственно проявляется" в некоторых других вопросах, являющихся "более чем значительными" для теологии и интересующими в "осовременном виде" не только философов, но и всех, кто ищет разумной основы своего поведения".

"Прежде всего это проблема природы и благодати", вызывавшая в истории христианства острейшие конфликты (пелагианство, реформация, янсенизм), и, продолжающая "оставаться не менее животрепещущей, чем во времена Тридентского собора, изобилуя таким же множеством осложнений и трудностей". В первом приближении проблема природы и благодати сводится к вопросу о том, в какой степени человек "морально ответствен за себя, и может ли он возлагать ответственность на другие силы, которые ему не подвластны". Существует множество вариантов проблемы ("биологических, социологических, историософских, метафизических"), частично превратившихся в "проблемы, имеющие шансы эмпирического их решения, а следовательно утративших свой философский характер" или оставшихся "в рамках историософских и метафизических спекуляций без особых надежд на иное решение", но во всех этих вариантах все же четко просматривается стремление "обнаружить, насколько определенные, независимые от нас факторы - физиологические, либо исторические - могут нас оправдать задним числом или в какой-то степени дать нам безошибочные указания относительно будущих решений".

"Скрытая рациональность теологической проблематики" становится достаточно очевидной при анализе, пусть даже поверхностном, "актуальных жизненных философских проблем". Так, изучая вопрос о природе и благодати можно отметить, что, например, "все концепции естественных цивилизационных циклов" (Тойнби или Шпенглер) - "являются аналогичным повторением того видения мира, картину которого мы находим в Царстве Божиим", а "против-

ники исторического детерминизма - Исая Берлин, Карл Поппер - продолжают пелагианскую сотериологию". "Марксистская литература представлена в этом вопросе различными сюжетами, группирующимися обычно вокруг решений, близких резолюциям Тридентского собора: действия, соответствующие желаниям исторического абсолюта, лежат в рамках детерминаций этого абсолюта; независимо от этого нет неодолимой благодати, а индивидуум несет ответственность за принятие или отказ принять предложение, которое абсолют делает каждому; искупление - возможность, которая предлагается всем, но с другой стороны, предусмотрено, что не все ею воспользуются, в связи с чем человеческий род неотвратно делится на избранных и отвергнутых; в проектах абсолюта это деление запланировано неотвратно и все его результаты предопределены, тем не менее индивидуумы добровольно выбирают ту или иную категорию". Вместе с тем, "абстагируясь от всех социальных конфликтов, влияющих на спор о природе и благодати" и, встав на точку зрения "индивидуальной мотивировки", можно констатировать, что в "этом споре сталкиваются две противоположные тенденции: с одной стороны - стремление найти вне себя опору своего существования" и "с другой стороны - опасение перед чувством нереальности собственного поведения и собственных решений, опасение перед ситуацией, в которой в нас поселяется некая чуждая сила и становится не только фактическим исполнителем наших решений, но и волей, принимающей эти решения".

Останавливаясь на других вопросах теологического наследия, касающихся историософии можно отметить проблемы первородного греха и искупления и воплощения. Что касается первой, то в современной версии она является "проблемой утопии, то есть попыткой преодоления исторического абсолюта, власти, 'бунт против которой якобы заранее обречен на поражение". Проблема искупления и воплощения также имеет определенную светскую интерпретацию: это вопрос о роли личности в истории, то есть вопрос о механизме, при помощи которого исторический абсолют воплощается в определенных исторических личностях..."

Одной из важнейших проблем теологического наследия является "вечная надежда философии" - откровение.

"Капризное божество никогда не обнажает всех своих секретов, однако; ослабленный отблеск его мудрости открывается смертным в той степени, в какой их совиные очи могут взглянуть на нее не ослепнув. Откровение - это просто абсолют в познавательном порядке, это комплекс, не поддающихся сомнению сведений о безотносительной ценности; это способ нашей коммуникации с абсолютом. "Философия в полной мере восприняла интерес к открове-

нию, более того оно превратилось, как уже говорилось, в "вечную надежду философии". Все без исключения философские системы "рефлекторно начинают с установления определенных основ, абсолютного начала всякого мышления". Кажется, что далее "процесс мышления покатится гладко и ловко, как стеклянный шар по льду". Но "мышление - это действие, которое нельзя заменить действием автомата", тем более, что оно является основой философии - "усилия, связанного с постоянной проверкой всех очевидностей, то есть постоянным дезавуированием существующих откровений". И все-таки "соблазн обладать собственным откровением неизменно подкарауливает критиков: каждая философия, желающая быть системой, критикует чужие откровения только затем, чтобы немедленно установить свои", для чего необходимо всего лишь "осознать нужду в откровении". "В действительности это мнимое начало является завершением, постройка уже покрыта крышей в тот момент, когда нам кажется, что мы только начинаем закладку фундамента".

"Философская завершенность, следовательно является ничем иным, как подстановкой откровения", являющегося для теологов "уже всем необходимым", ибо теология "начинает с убеждения в том, что правда нам дана, а интеллектуальное усилие состоит не в преодолении сопротивления действительности, а в усвоении подлинного существа того, что дано целиком в готовом виде".

Тоска по откровению, начиная от Декарта и кончая, например, позитивизмом Ипполита Тэна с его вечной аксиомой действительности, "открывающей единство Вселенной" или Гуссерлевской трактовкой проблемы окончательных данных не перестает "жить в сердце философии" и "стремление к окончательному успокоению никогда не покидало ее".

Проблеме откровения "сопутствует другой вопрос - насколько понятийное мышление способно выразить и понять окончательные данные" - вопрос о соотношении веры и разума.

"Личность невыразима" - эта формулировка успокаивала теологов, ставивших вопрос о божественной личности, но для философии эта формула, "даже если она правдива, остается такой же бесплодной, как и утверждение, что Бог - загадка для смертных".

Всякий раз, когда человеческий разум сталкивается с "невозможными для проверки факторами", перед ним встает эта проблема. И почти всегда "упорное стремление упорядочить мир", "поиски одного заклинания, которое сделает действительность ясной и читабельной", "погоня за философским камнем" "оказывается сильнее, чем все перипетии нашего умственного развития". Причем, наука, разоблачаемая всякий раз, когда философия "пытается отбросить монистические надежды", становится "верной союзницей фи-

лософии", особенно с того момента, когда "философия возымела амбиции научной дисциплины".

Не пропало для философии и наследие мистической теологии, особенно в четырех областях: "в вопросе практической интерпретации знаний, в вопросах диалектики, в вопросах целостной интерпретации мира и в вопросе субстанционального характера первичной действительности".

Как описать "что есть Бог"? "Инструменты, которыми располагает человеческий язык" отказывают при попытках описать свойства абсолюта, только наши знания, не говорящие "каков есть Бог", а лишь "рекомендующие, как лучше чтить его и как, отказавшись от себя, приблизиться к его величию" имеют практический смысл. Теология формулирует это так: "Мы столько знаем о Боге, сколько даем ему нашей любви". Своеобразным обобщением "программы мистиков" в этой области является, "отнюдь не устаревшая" точка зрения первых прагматиков: "отбросим вопрос том, как выглядит мир "сам в себе", будем рассматривать научные теории, как практический указатель для нашего поведения в определенных условиях".

"Известно, что все попытки применения привычных понятий к абсолютному бытию приводили к антиномиям". Отсюда мистики делали вывод о том, что "сказать, что ни одна категория человеческого языка не может быть применена к Богу, - это сказать, что когда мы о Нем говорим, к Нему применяются все категории". Чем не диалектика? А система Эригены, "представлявшего мир, как эманацию Бога, отчужденную от своего источника и в своей завершенности являющуюся его отрицанием, а затем в обратном движении стремящуюся к отрицанию самой себя и новому отождествлению с первоначальным источником"? Это же почти "диалектический скелет"! Причем в мистической теологии, а отличие, например, от логики Гегеля, отчуждение является одновременно и полным слиянием; "благословен грех, заслуживший такого Искупителя" - говорит средневековая песня. "Историософские размышления о прогрессе, который дополняется своей "плохой" стороной - повторяют ту же схему".

Мистическая теология, разрабатывая вопросы, "связанные с целостной интерпретацией бытия", сформулировала, "хотя и в очень обобщенной версии" теорию формы. "Ее современный эквивалент можно обнаружить скорее в спекуляции Бергсона, чем в методологии "гештальтистов": подлинного самостоятельного бытия заслуживает только абсолют, а все законченные фрагменты, которые мы выделяем в мире - это либо род патологического отчуждения, ожидающего своего уничтожения... либо только деформированный образ, созданный нашим воображением".



Вопрос о субстациональном характере первичной действительности также "зазеленел свежими листками в нашем веке". "Сомнение в идее субстанции и замена ее метафизической первичностью других принципов, считавшихся по традиции зависимыми предикатами, определениями, нашло свое выражение в XX веке в крайне разных доктринах" и, поэтому неудивительно, что например, "актуализм Джовани Джентиле, теория Альфреда Уайтхеда и Бертрана Рассела, теория реляций Наторпа - ... - встречаются в определенной точке, чрезвычайно далекой от их источников".

"Приведенный нами список вопросов" должен был показать, что решаемые философией проблемы - представляют собой "продолжение теологических споров или, скорее, новой версией тех же самых задач, первичную и менее удачную версию которых мы знаем из истории теологии". Так существует ли единый, упорядочивающий принцип, лежащий в основе всех описанных конфликтов мировоззрений? Рассмотренные "иллюзии" раскрывают перед нами формулу принципа: "за или против надежды на окончательность в бытии, за или против поисков опоры в абсолютах".

Суть этого конфликта заложена в самой человеческой природе, в том страхе, который испытывает человек, предоставленный самому себе, раздираемый с одной стороны - "поисками абсолютной действительности", ведущими к "самоуничтожению индивидуальности" и "утверждению индивидуального существования, как не подлежащего проверке факта" - с другой. "Каким особенностям человеческой натуры - если уж употреблять это затасканное слово - следует приписать эти склонности, эти неистребимые тропы, влекущие нас к завершенностям, эту надежду на то, что откроется нам некий единый высший принцип, который и объяснит нам весь мир и возьмет на себя одновременно наше существование, наше поведение и наше мышление"?

Теологи убеждали и убеждают человечество, что "человеческой мыслью правит данное Создателем естественное к нему тяготение" или иначе - "естественное религиозное чувство". Рассматривая религию, как "отдельный случай более общего феномена, с успехом проявляющегося и вне религии" перейдем к "имеющимся в нашем распоряжении" другим объяснениям, "впрочем представляющим собой иные способы выражения той же самой мысли".

Один из примеров такого рода объяснений "был сформулирован в свое время Фрейдом, но фрейдистами, как правило, отбрасывается". "Это теория инстинкта смерти, то есть теория, гласящая, что существование живой материи стало тоской по возвращению к неорганическому состоянию, стало склонностью к уменьшению

напряжений, а в конечном счете - к полной их ликвидации, то есть к отмиранию органических процессов".

Вторая доктрина сводится к формулировке принципа экономики, как "принципа естественного стремления всех структур к выравниванию напряжений и разниц".

Третий принцип, являющийся "сформулированным в теории форм" принципом упрощения гласит, что "все "форменные структуры" или целые структуры имеют врожденную склонность к превращению в формы как можно более простые, как можно более симметричные, как можно более дифференцированные".

"На четвертом месте назовем формулу Сартра, гласящую, что бытие для себя... проявляет постоянное и противоречивое стремление превратиться в бытие "в себе", стремится избавиться от небытия, которое мучает его, но бытие, то есть свобода - это то, что его определяет; желать избавиться от небытия, вернуться в мир "в себе" - это значит желать уничтожить себя как личную экзистенцию, то есть просто, как экзистенцию".

Строго говоря, все приведенные выше примеры "представляют собой по существу попытки философского обоснования принципа энтропии", который, если принять его, вполне "можно использовать для интерпретации истории философии", то есть предположить, что "все рассмотренные выше проявления тоски по абсолюту... были просто-напросто отдельными случаями действия этого принципа". Само содержание философии можно было бы тогда "вывести из этого свойства человеческого мышления, которое оно разделяет со всеми энергетическими структурами". Однако господствование этого принципа не позволило бы проявиться тому "хроническому конфликту философии", "конфликту между поисками абсолюта и бегством от него", который "по нашему мнению активно упорядочивает ее историю".

На протяжении всей "истории умственной культуры" энтропийному мышлению, то есть консерватизму, "противостояло мышление, выражающее обратные процессы - процессы роста напряжения".

Любое "умственное течение, которое стремится оторваться от признанных незавершенностей само устанавливает таковые", оно непременно приходит к тому, что жертвой критики "становится его собственный абсолют". Возможно ли методы, проявляющие абсолютную эластичность?" Все исторические примеры дают достаточно оснований, чтобы в этом усомниться", хотя нам безусловно известны "проявляющие особенно длительную жизнеспособность" благодаря тому, что они "выработали инструменты с помощью которых можно подвергать критике их самих": в XX столетии "этот

радикализм проявили как марксизм, так и феноменология, и психоанализ".

"Антагонизм между философией, утверждающей абсолюты, и философией, подвергающей признанные абсолюты сомнению, представляется антагонизмом неизлечимым, как неизлечимо существование консерватизма и радикализма во всех областях человеческой жизни". Это конфликт между жрецами - "хранителями абсолюта", поддерживающими "культ признанных и традиционных окончательностей и шутами - "в каждую эпоху разоблачающими как сомнительное то, что считается самым нерушимым, выявляющими противоречия в том, что кажется очевидным и бесспорным, высмеивающими очевидности здравого разума и находящими смысл в абсурде - словом берущими на себя весь повседневный труд шута вместе с неизбежным риском оказаться смешным". Шут - изначально диалектичен, ибо "постоянно размышляет над возможной правотой противоположных идей", руководствуясь "не духом противоречия, а недоверчивостью к стабилизированному миру вообще". "В мире, где, казалось бы все остановилось" шут "представляет собой движение фантазии", определяя себя также и "через сопротивление, которое должен преодолеть".

Однако сам по себе порядок не является "противником антиабсолютистской философии". "Порядок может быть девизом полиции и революции". Философия ниспровергающая абсолюты сражается против того "особого рода порядка", сведшего "все множество существующих миров и возможных миров в единую классификацию, то есть тот, который получил удовлетворение, какое дает завершенное дело". "Хранители этого порядка - жрецы - "последователи мифологии" однако торжествуют, и это "представляется неизбежным и естественным", как "преимущество одного мира вещей над множеством миров возможных". Подтверждение этому - жизнь вокруг нас. "Дождь богов падает на похороны одного Бога, пережившего самого себя. У безбожников есть святые, а богохульники строят часовни. Быть может для того, чтобы целое не взлетело на воздух, жажда абсолюта, стремление к уравниванию напряжений должно занимать несравненно больше места, чем рост напряжения. Если это так, то таким образом выясняется смысл существования жрецов, хотя это и не может быть поводом для вступления в их ряды".

"Мы высказываемся за философию шута, то есть за отношение отрицательной бдительности к любому абсолюту, но не в результате сопоставления аргументов, ибо в этих вопросах главный выбор - оценка. Мы высказываемся за возможности внеинтеллектуальных ценностей, содержащихся в позиции, грозящая опасность и

абсурдность которой нам известны. Это выбор образ мира, который дает перспективу трудного согласования в ходе нашей деятельности среди людей таких элементов, которые необычайно трудны для объединения: доброты без универсальной снисходительности, мужества без фанатизма, ума без разочарования и надежды без самообольщения. Все иные плоды философского мышления маловажны".

## ФИЛОСОФИЯ КОНТР-КУЛЬТУРЫ, или

### АНТОЛОГИЯ ЗАПАДНОЙ

#### РОК - ПОЭЗИИ

Журнал ТВЕРДЫЙ ЗНАКЪ представляет читателям концептуальные переводы западной рок-поэзии. Мы полагаем, что в условиях дегуманизации европейской мысли контр-культура, или культура аутсайдеров - едва ли не самое мощное средство диалога, способное взорвать отчуждение. Создаваемые ей, пусть порой вульгарные, формы общности, представляют уникальные на сегодняшний день группы, объединенные не прагматическими, а идеальными целями. Рок-музыка и рок-поэзия заполняют огромное пространство между изысками, доступными исключительно высоколбым, и малосъедобным развлекательным варевом, приготовленным не слишком искусными кулинарами для всеми презираемой абстрактной толпы. Пытаясь взорвать стереотипы банального сознания, поэзия контр-культуры прежде всего озабочена проблемой разрушения и проблемой синтеза, т. е. уничтожением лжи и собиранием Истины. Являя собой попытку прорыва из тупика оппортунизма и индивидуализма, рок-модель привлекает прежде всего стремлением воссоздать целостный взгляд на вещи, показать нелепость самого факта расщепления сознания и поведения.

Состав антологии и перевод с английского -

Джулии Брайскет.

*Пластинка "Season of Glass" выпущена Йоко Оно через год после гибели Джона Леннона, в 1981 г.*

*Йоко Оно, художница, авангардистка, организаторница хеппингов, легко и непринужденно стала писать музыку и петь, познакомившись с Ленноном. Нонконформное сознание, свойственное Йоко, произведшее столь сильное впечатление на Леннона, в значительной степени определило их совместное ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО. Категории такого порядка не рассчитаны на массового потребителя и лежат вне сферы массовой культуры.*

*Публикация наша объясняется тем, что перед нами не только образцы рок-поэзии, но и свидетельства жизни, опыт преодоления и чистейшие формы выражения любви и боли. Своеобразная духовность рок-культуры, возвращающая человека на его исконное место в космосе, между небом и адом, утверждает нерушимую связь высокого и низкого, благодати и греха, падения и творчества.*

*Пластинки Йоко Оно практически не известны у нас в стране, но мы надеемся, что прочитав ее тексты, многим неминуемо захочется услышать голос.*





## ЙОКО ОНО

### ВРЕМЯ СТЕКЛА

#### Прощай, грусть

Прощай, грусть,  
Прощай, грусть,  
Ты не нужна больше  
Каждую ночь у меня была мокрая подушка  
Но теперь я увидела свет

Прощай, прощай грусть  
Гоню тебя прочь  
Прощай, прощай грусть  
Мне этого больше не надо

Прощай, грусть  
Прощай, грусть  
Я расстаюсь с тобой  
Столько дней жила страхом  
И вот отправлюсь своей дорогой

Привет, удача  
Где ты ни есть  
Надеюсь, ты слышишь мой голос  
Я не хочу больше слез  
И не хочу страха

#### Даже когда ты далеко

Удивляюсь, почему  
Я никогда не ненавидела тебя  
Даже когда ты смотрел куда-то туда  
Я всегда любила тебя - отдаваясь  
Вот, собственно, так мы и существовали  
Вот так это и случилось  
Мы не знали как любить  
Любить вне страха

Я скажу тебе, почему  
Я никогда не могла ненавидеть тебя



Даже когда ты был где-то там  
Я знала, что ты любишь меня – отдаваясь  
Это наш способ существования  
Это так все и случилось  
Мы не знали как любить  
Любить вне страха

Часть меня всегда будет  
С тобой  
Часть тебя есть во мне  
Это наш способ существования  
Это так и случилось  
Мы не знали, как любить  
Любить вне страха

Мы не знали, как  
Как разговаривать друг с другом  
Этого мы не могли  
Я видела твою душу  
А ты видел мою  
Это наш способ существования  
Это так все и было  
Мы всегда знали – отдаваясь  
Что любовь здесь

### **Никто не видит меня как ты**

Передо мной твоё лицо, обращенное в вечность  
Усталое и тревожное  
Почему все должно было так случиться  
Ты и я  
Я хотела, чтоб мы были счастливы  
    Никто не может видеть меня как ты  
    Никто не может видеть тебя как я  
Я вижу твоё лицо живым  
Я была женой и женщиной  
Если я огорчала тебя  
Прошу тебя, помни, я хотела, чтоб ты был счастлив  
Есть ли то, чего я желала бы больше  
Больше твоей веры и твоего понимания

Никто не может видеть меня как ты  
Никто не может видеть тебя как я  
Я хочу идти  
Я хочу бежать  
Я хочу раствориться и быть нежной  
Я хочу снова  
Сидеть рядом на ореховых стульях  
Даже с твоим теплом и близостью  
Привкус одиночества гнетет как проклятие  
Никто не может видеть меня как ты  
Никто не может видеть тебя как я  
Даже с твоими мечтами и тревогами  
Привкус одиночества мучит словно жажда  
Никто не может видеть меня как ты  
Никто не может видеть тебя как я

### Оборот колеса

Наша любовь не плелась торной дорожкой  
Наша любовь всегда как туго натянутый канат  
Порой я хочу просто ощутить твое присутствие  
Но чаще боюсь, да, я боюсь  
Я потеряла тебя, но не выговариваются слова  
Ты нужен мне. Я желаю не знать.  
Порой я рада просто почувствовать, что ты здесь  
Но чаще боюсь, да, я боюсь  
Почему никто не сказал,  
Что следовало выгнать побольше сердечной боли  
Почему никто не сказал,  
Что так много углов, которые следует огибать  
Представляю - вот мы шагаем той безопасной дорожкой  
Держимся за руки и шагаем  
Порой я боюсь, я боюсь, что мы такие  
Но чаще я спасаюсь своим воображением: хватаюсь за него  
Почему никто не сказал,  
Что уличных огней, которых надо бежать, так много  
Почему никто не сказал мне,  
Что колеса не повернуть вспять

## Песий город

Город спит на заре  
Я одна бодрствую  
Улицы проносятся со свистом  
Закуриваю четвертую сигарету  
Думаю о друзьях  
Когда-то они не были так мертвы  
О чем они думают сейчас

Когда-нибудь я стану маленьким камнем  
Никто не будет знать, что у этого камня  
столько чувств

Как бы там ни случилось  
Пока я мчусь  
Когда-нибудь меня будут помнить за звонок,  
которого никогда не сделала,  
Письмо, которого не отправила  
И историю, которую никогда никому  
не дорассказала

Город зевает  
Я позволяю своей собаке кружить возле меня  
Она делает стойку - люди улыбаются  
Пробую то же - люди скалятся  
Да, это песий, песий город

Когда-нибудь вырастут два дерева  
Никто не будет знать, что у деревьев  
такая история  
Как бы там ни сложилось, мы не разминемся

Когда-нибудь станут помнить  
добрые слова, которые я хотела оставить  
теплую улыбку, которую я хотела подарить  
и стоящую песню, которую я хотела бы писать  
 всю жизнь

Да, собачий город  
Это собачий город  
Псы, псы, псы  
Собачий город

Мера овсяного крошева



Я училась путешествовать по миру, по долам и весям  
И бежать по земле весной  
Но это история очарованной души  
История видящей сны.

**Я не знаю почему**

Я не знаю почему  
Нам было так хорошо

Комната так пуста  
Комната пуста без тебя  
Мое тело пусто  
Мир пуст без тебя

Не знаю почему  
Нам было так хорошо  
Я не знаю почему  
Нам было так хорошо  
Почему  
Я незнаю почему  
Нам было так хорошо

Ты оставил меня  
Ты оставил меня  
Ты оставил меня без слов

Ты оставил меня  
Ты оставил меня  
Ты оставил меня без слов

Недоноски!  
Вы ненавидите его и меня!

**Прямая 33**

Проживая в У  
На прямой 33  
Не заботясь и не тревожась ни о чем

Однажды я крутила любовь с безрассудным человеком  
Но моя тетушка сказала мне: "Не стоит труда,  
не делай этого"

Проживая в У  
33 лет  
Не имея никого, чтобы звать или писать  
Однажды я играла в любовь с женатым человеком  
Но мое чувство сказало мне: "Не набивайся,  
это убьет тебя"

Я грущу, что не вышла за безрассудного  
Но что за жизнь с тремя безрассудными детьми  
Я рада, что не надоела женатому  
Это спасло мою честь и свободу

Проживая в У  
В 33 комнатах  
Не имея никого, чтобы ходить в гости или писать  
Однажды я узнала любовь, и это почти убило меня  
Но у меня осталась моя честь и свобода

Свобода  
Свобода  
Свобода и честь

**Нет, нет, нет**

Позволь мне снять шарф  
Нет, нет, нет  
Не помогай мне, я могу это сделать  
И ты знаешь это  
Не трогай меня, я не люблю этого

Дай мне снять рубашку  
Нет, нет, нет  
Не помогай мне, я могу это сделать  
И ты знаешь это,  
Не трогай меня, я не люблю этого

Ты обещал мне  
Ты обещал мне

Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Я не помню, что ты обещал  
Я знаю, ты не исполнил

Дай мне снять брюки  
Нет, нет, нет  
Не держи меня, я не хочу этого  
Ты думаешь о Rock Hudson,  
когда мы делаем это

Дай мне снять кольцо  
Нет, нет, нет  
Не делай этого, я могу сделать это  
Я вижу, как разбивается стекло.  
когда мы делаем это

Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Я не помню, что мы обещали  
Но я знаю, мы не исполнили

Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Ты обещал мне  
Я не помню, что мы обещали  
Но я потеряла тебя!

**Ты коснешься меня**

Ты коснешься меня  
Тронешь ли ты меня  
Когда плоть полнится страхом  
Ты придешь ко мне  
Ты придешь ли ко мне  
Когда тело - лед  
Никакое самое теплое слово не докричится до меня  
Ничто, кроме пламени сердца не растопит меня

Ты pomoжeшь мне  
Ты pomoжeшь ли мне  
Кoгда душaт слeзы  
Ты пoцeлуeшь мeня  
Ты пoцeлуeшь ли мeня  
Кoгда пoмрaчaeтся рaзум

Двeри вeчнo зaхлoпывaются пeредo мнoй  
Ничтo в мирe нe рaспaхнeт мoгoгo сeрдцa, крoмe  
кaпли дoбрoты

Трoнeшь ли ты мeня  
Трoнeшь ли ты мeня  
Кoгда сoтрясaeт срaх  
Пpидeшь ли ты кo мнe  
Пpидeшь ли ты кo мнe  
Кoгда душaт слeзы

Двeри вeчнo зaхлoпывaются пeредo мнoй  
И ничтo в мирe нe рaспaхнeт мoгoгo сeрдцa, крoмe  
твoей дoбрoты

### **Она опускается на колени**

Она опускается на колени, чтобы покончить с жизнью  
Она опускается на колени, чтобы поквитаться с жизнью  
Она опускается на колени, чтобы посчитаться с жизнью  
Это единственная вещь, которую она делает хорошо

Из комнаты в комнату  
Стирая к черту память  
Спать, спать  
Чтобы вытравить эту историю

Она опускается на колени, чтобы сотворить жизнь  
Она опускается на колени, чтобы отворить жизнь  
Она опускается на колени, чтобы претворить жизнь  
Она опускается на колени, чтобы предварить жизнь  
И это единственный способ стать стоящей





## **Матерь мира**

Мати, Владычица и Заступница мира  
Благословенно Имя Твое  
Мудрость Твоя торжествует, воля Твоя исполнена  
Да будет так

Ты даруешь нам жизнь и кров  
Призри нас, грешных  
Наставь нас к любви и свободе  
Да будет так

К тебе - наши помыслы и дела  
Славим Имя Твое  
К Тебе - наши чаянья и надежды  
Слава Тебе  
Слава Тебе  
Слава Тебе Во веки.

# ХРОНИКА

Максим Шевченко

## О СОЦИАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ МАСС

Литературная импровизация  
в четырех криках с увертюрой

Гражданская война...

Созвучие сие частенько стали мы слышать в последнее время.

Вот, мол, надо сделать то-то и то-то и не делать того-то и того-то, а не то случится, разразится, обрушится гражданская война.

Что же это за событие такое, что за чудовище?

А мы знаем, знаем, знаем!

Знаете, дети? Очень хорошо! Кто будет отвечать? Ты, то есть Вы? Пожалуйста!

Отвечает:

Гражданская война - это когда брат на брата, и когда меч вражды прорубает своим без-пощад-ным (да, да так и говорит без-пощад-ным) лезвием покой и мир каждой семьи, каждого дома, каждой улицы, каждого города, вообще, если коротко это, когда друга друга убивают по соседству.

Правильно, дети, но ответ неполный, неполный... Кто хочет?

Можно я!

Разумеется можно.

Гражданская война - это когда представители одного народа сходят с ума и начинают образовывать воинственные группировки, различающиеся между собой, в основном, степенью безумия. Есть, правда, еще такие, которые не знают, не ведают куда податься, но и им находится место; они начинают служить питательной почвой для безумцев или образуют, слоняющуюся по всему миру, несчастную эмиграцию.

Правильно, дети, правильно.

Правильно, сукины вы дети, правильно.

Урок окончен, дети. По домам, дети. К мамочкам-папочкам, дети. Счастья вам, дети, умненькие вы детишечки, разумненькие вы мальчуганы и девчущечки, убудки вы недоношенные, в Бога душу мать...

это была, это была, это была увертюра

Попробуем поговорить серьезно, попробуем.

...И встал вопрос - "О чем писать?"

О чем писать в наше время? Какое такое событие заслуживает первоочередного внимания? Мафия? Забастовки? Разруха? Этому посвятить себя?

Нет!

Посвятим себя... крику. Истошному крику, рвущемуся из уставшего молчать, горла. Крику о помощи, крику ненависти, крику любви, просто крику, когда никого, только ты да Господь Бог.

Итак, крик!

Крик 1 (о помощи)

Помогите!

Захлебываюсь!

На Пушкинской площади (далее просто Пушке), у редакции "МН", толпа народу. Лица умные, лица знающие, лица интересующиеся, лица тупые, лица агрессивные и отвратительные. Попадаешь в этот водоворот, не знаешь куда приткнуться, прислушиваешься направо-налево, причаливаешь к какой-нибудь человеческой кучке, слушаешь.

Кого тут только нет. Все оттенки политического и околополитического спектра столицы представлены на узеньком пятачке. И безумные женщины с портретом Ельцина на левой старческой груди, и молодые демократы из Союза Будущих Павших Борцов за Абсолютную Демократию, и, размахивающие подписными листами героические сподвижники героических борцов с мафией, и, сражающиеся с драконом славянофилы, и, да, что там говорить, все, абсолютно все, нашли пристанище на Пушкинской площади (или, как уже упоминалось, просто Пушке).

Запах то, а? Запашо-о-ок!

Могу понять многое. Могу понять любое преступление, любое злодеяние, начиная, допустим, от Медеи и, кончая, например, а, да, что там говорить! Не кончаются они, да и не кончатся, пока жив на земле род людской, ибо пока он жив, жив и враг его, а пока он жив (или не жив?), многое понять можно. Не могу понять только этого одуряющего ветра политики, точнее и не политики даже, а идиотизма политического.

Помогите, люди добрые! Нет отсюда выхода и спасения. Запутаны все ниточки, сожрет, ох сожрет Минотавр героя!

Впрочем, крик о помощи явно глохнет, явно уже пробиваются сквозь интонации слабости (кстати, если честно, насквозь лжи-

вые, ибо надуманные) резкие оркестровые ноты ненависти. Пора переходить к

Крик 2 (о помощи, перешедший в ненависти)

Дурное, ох и дурное же это чувство!

Но не могу остановиться.

Не надоело, господа, высирать в телефоны, да в ушные раковины полупереваренные газеты и телепередачи? Не надоело?

Нет! Не надоело!

Мы хотим справедливости!

Так ведь и я хочу справедливости. И я иногда хочу, чтобы было хорошо.

Вот, например, Армения. Там идет война. Там стреляют, режут, рвут бомбы, устраивают блокады, объявляют забастовки и голодовки. Там сражается народ, постоянно находившийся на грани истребления. По крайней мере на своей Родине. Гражданская ли это война? Нет, не гражданская! Национально-оборонительная, религиозная, но только не гражданская. Но то совсем другое дело. Дай им Бог мира и справедливости.

Когда я вижу разгоряченные от политических споров лица москвичей и гостей столицы, мне хочется искренне присоединиться к патетическому возгласу Родиона Романовича.

Что, возможно, и вызовет некоторые нарекания.

Но, господа! Господа!

Неужели Вам мало? Неужели Вы все еще не поняли, что Вы смертны, что Вы - маленькие хрупкие марионетки, всегда управляемые кем попало. Здесь же и войны то гражданской настоящей не будет, да и не бывает ее войны то гражданской. Все только сумбур и погром. Все было погром, все есть погром, все будет погром, только может еще и не погром, а погромилще. И никаких там первых или последних конных, никаких рейдов Мамонтова или корнетов Оболенских, разливающих вино. Все это литература. Все это даже, если и было, то так давно, что вроде как вообще и не было.

Жизнь Ваша проистекает в пространствах временных и географических. У Вас есть шанс превратить эту жизнь в совершенно уж нестерпимую. Главное не в осадном положении или там в хлебе по карточкам. Главное в Вас самих.

Честно говоря, я не припомню революцию, совершенную честными людьми. Как правило, все вожди тех или иных революций шли на разного рода обманы и подлоги, вроде как в высших целях, а на поверку ради шкурных интересов. И все время толпы людей, подогреваемые разгоряченными активистами, шумели, рычали, требовали чего-нибудь этакое сей же час немедленно. Вожди поднимали руки (как правило правую руку), говорили немного, но за-

жигательно. После чего, усевшись покрепче на тропе неудачливого предшественника, как правило консерватора, заботившегося о покое, столь презируемого радикалами, обывателя, они начинали с казней, а заканчивали яростными попытками консервации, за что обзывались реакционерами, презирались и свергались. Если получалось, конечно. Впрочем, даже если и не получалось, борьба не прекращалась. А народ, по выражению А.С.Пушкина, "в ужасе молчащий", служил для высоких борющихся сторон пушечным мясом. Причем создавалось впечатление (упаси Господь от аналогий!), что жизнь людей более беспокоила консерваторов, нежели... Страшась общественного гнева (вот шлюха то!) затыкаюсь и не смею далее в том же духе.

Вернемся к крику ненависти.

Небольшая загадка на парламентскую тему.

Встретились на Пушкине два человека. Поговорили, поспорили, поругались.

Один-другому: "Ты рассуждаешь, как провокатор, как сионист!"

Этот в ответ: "Ты сам жид!"

Первый: "Ах, ты морда жидовская!"

И так далее.

Вопрос: Кто из них еврей?

Попробуйте отгадать, а если не получится, то и ничего страшного, какнибудь без Вас обойдутся.

Иссякает, казалось бы неистощный крик ненависти. Что их, право, ненавидеть? "Все суета-сует, всяческая суета." - сказал великий пророк. Ему, пророку, виднее. Но мы люди времени развращенного, слабые духом человеки. Не хватает у меня сил на этакое спокойствие. Завидую я пророку. Странные дела творятся под небом. Господи! Знаю ведь, что и не Россия это давно, и не Русь тем более, что растоптанная, давно под золой-пеплом погребенная, Совдепией названная, корней лишившаяся, молчит она, ан нет!словно тянет что - "Жива!" Земля моя, что ли? Глупо, да? Некуда от земли этой деться, а остальное все, как сон страшный пройдет, схлынет и останется чем-то врзде История Тита Ливия. Так ли то?

Крик 3 (короткий, потому что любви)

Вы думаете, Пушкина это нонсенс? Нет. Все мы огромная Пушкина. Разъедает социалыщина души человеческие. Все годы одна политика.

Раньше на кухнях, перед сном, теперь на работе, за столом, в дружеской беседе, даже с любимыми.

Результат?

При отсутствии страха - ненависть, кровь, резня, в самом благоприятнейшем случае головная боль и нервная дрожь в пальцах.

Слышу по радио интервью с семидесятилетней старушкой. Почти ровестницей активной политизации масс.

- Вспомните, пожалуйста, Фекла Матвеевна, что-нибудь хорошее, что было за эти семьдесят лет.

- А ничего хорошего то и не было, дочка. Потому и детей не завела, чтобы на горе их не рожать.

Потом вспомнила. Было одно. Еще девочкой ходила со взрослыми женщинами прясть. Песни пели.

Куда уж дальше то, а?

Может быть одумаемся, остановимся, присмотримся к себе?

"Ворюга мне милей, чем кровопийца" - сказал И.Бродский.

Судите, как хотите, но мне, пожалуй, тоже.

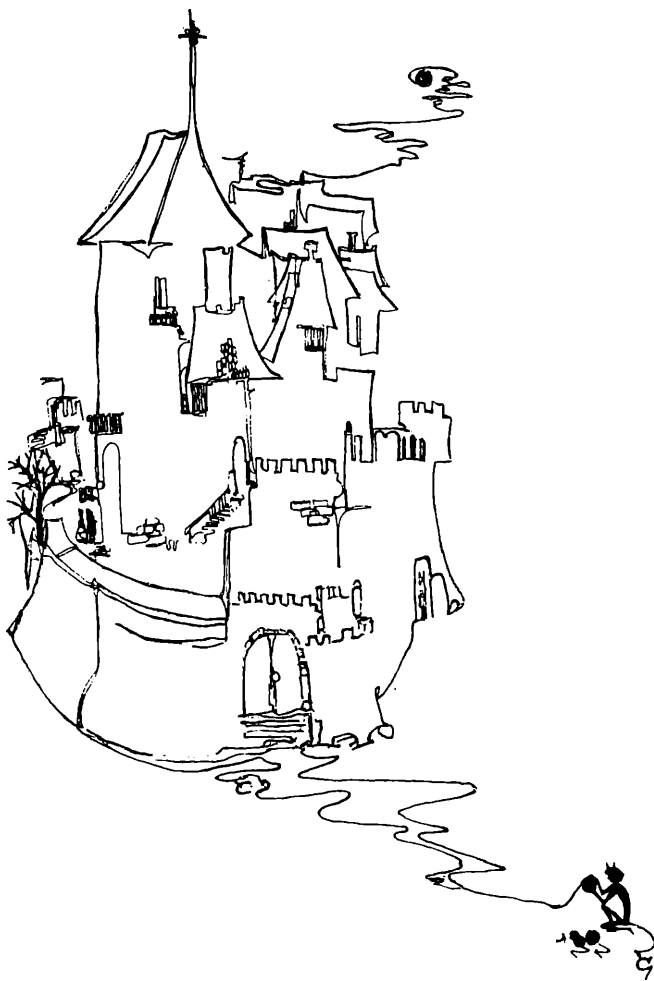
Не получается что-то любовь, крик не получается, отучен от этого.

Все больше хрип выходит, шепот.

Попробуем последний.

Крик 4

**ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС, ГРЕШНЫХ,  
ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ!**







Аркадий СЛАВОРОСОВ

Поцелуев мост

Катьке Пожемицкайте

Осенней серости промозглость,  
Покорность палого листа,  
И полу-вдох, и полу-возглас  
У Поцелуева Моста.  
Все так изысканно и мило:  
Очарование очей.  
Но снова мимо, мимо, мимо  
Иду - свободный и ничей.  
Отбой хрипят больные трубы,  
И сердце смотрит в пустоту,  
И немота слепила губы  
На Поцелуевом Мосту.  
И, как лицо продажной девки,  
Был день мой бледен и испит.  
В гранит подолом хлещет Невка,  
Над ней фонарь, как цапля, спит.  
О, запустенье птичьих высей!  
О, запустение сердец!  
А Осень мечет, мечет бисер -  
И разорится, наконец.  
Урод октябрьский рыбу удит,  
Облокотясь о парапет.  
Но что-то будет, будет. Будет! -  
Вот мой единственный ответ.  
И лопнет сырости осенней  
Пузырь. Пророчеству внемли! -  
И снова будет вознесенье  
Над притяжением земли,  
И клирос грянет: "Аллилуйя!",  
И прынет сердце в высоту,  
И я умру от поцелуя  
На Поцелуевом Мосту.

октябрь, 78  
С.-Петербург

Я хочу тебя, раб запятых и точек,  
Как часть речи хочет стать частью тела, как  
Вдохновенно-слепо хочет войти подстрочник  
В лоно слова, в девственность языка.

Эти буквицы суть продолжение пальцев через  
Авторучку Parker. А те - продолжение губ.  
Я - лишь имя. Подпись. Я - слово. Но разве череп  
Защитит от фраз, целующихся в мозгу?

Нагота твоя скрыта тончайшим листком почтовым -  
Мне не спрятать глаз, злые пуговицы теребя,  
Ты не спрячешь губ беззащитно-надменным "Что вы?",  
Я - за словом слово - исписываю всю тебя.

Дай мне плечи твои, колени, ключицы! Тайну  
Переписки этой гарантирует Лилит.  
И язык мой /враг мой?/, бесплотный и нежный даймон  
То воплечет /Ангел!/, то /Дьявол!/ во тьме скулит.

И тебя языком сухим и слепым ласкаю,  
Распускаю строчек затейливую тесьму.  
И язык мой - нежный - в себя, как огонь, впуская  
Ты бесстыдно вторишь стонущему письму.

март, 89

Губы вытолкнут лишь: Сугуба  
эта пагуба, мон шери!,  
принимая впотьмах суккуба  
за племянницу из Твери.

И с припевочкой сей зловещей,  
многозначачей, как "вообще...",  
словно в лона безмолвных женщин  
погружаешься в тьму вещей.  
Но в том месте, где пела глина,  
воздух все еще прян и густ...  
... и срывается с губ: Фаина!,  
и - Шарлотта! - слетает с уст.

8.3.89.

Мне у тебя ничего не вымолить  
Даже за гнойный стигмат стиха.  
Имя Твое недостойно вымолвить  
Устами черными от греха.

Окостенел от ступни до темени  
В самой промозглой из вольных воль.  
Мозг мой - как сгусток ползучей темени.  
Мне о Тебе и помыслить - боль.

Хоть проползти по кайме, по краю мне  
Мира /не то что бы - к алтарю/ -  
Точно хула. Как на праздник в храме  
Вечно вонючему золотарю.

Звезда, чадя, догорит ракетой,  
Вычертив путь пальцеглазой судьбе.  
Гортанью, съеденной спирохетой,  
Молившую мою промолчу Тебе.

Нет у меня ни лица, ни имени.  
Истаю - воск от лица огня.  
Но Ты - Милосердный, Благой, Любимый мой,  
Помысли о мне, назови меня!

\* \* \*

Когда меня крюком железным  
Потащит дьявол в жерло тьмы,  
Я воззову к Тебе из бездны.  
/Внемли же дерзостному "Мы"/

В дурном бессмертии мытарства  
Душа из мрака воззовет:  
"Казни! Но дай же видеть Царства  
Мне и отсюда горний свет!"

Тень тени вопиет беззвучно -  
Лишь эхо эха - глас ее.  
Но там, где даже гибнуть - скучно -  
Со мной, во мне - лицо Твое.

Я - мертвый пес. Не знаю лада,  
Но, вечной пытки пригубя,  
Из раковой палаты ада  
Хриплю: "Я так люблю Тебя!"

ТЕАТРИК  
ДЛЯ  
СУМАСШЕДШИХ

(сегодня - Саша Попов)

Мы, шизофреники и бредаисты, ветераны третьей мистической, хотим внести в смерть, ибо жизнью то, в чем мы находимся, назвать очень трудно, малость другое внимание, которое чуть-чуть, но отличается от того обычного, принятого в счет околпаченными людьми, считающими, что они живут, или мертвы, среди людей, в кодексе необходимого для будущей жизни на земле тона; вот это несколько другое внимание к себе и к происходящему с нами, скорее всего на примере себя, мы хотим дать, предложить мертвым и смерти, как могущее быть в какой-то мере животворящим в той жуткой области, где мы пребываем. Т.е. мы предлагаем на себе, раз уж мы человеки, или, как это у духовников говорится - вочеловечились, испытать особый взгляд на себя в мире желаний и действий, нежеланий и недействий.

Опыт этого внимания, как нам мнится, уже наличествовал в компании авторов, заявивших себя в "Северных цветах", "Весех", "Скорпионе" и подобных им изданиях, и трагически прервался катастрофой 1916-1985 гг., знаком которой было убийство Распутина аристократами, и, как он предсказал, 70 лет мужицкой власти, вообще-то может быть неизбежной и нам обещанной, уготованной бодрствующей над нами свыше силой... но теперь-то куда ткнуться? только туда же, больше, увы, некуда. Таким образом мы хотим возродить то целостное единство веры-творчества-общественности, которое сумели найти излюбленные люди столиц России в 1900-1920 гг., что конечно же является, как все понимают, крутой и смелой заявкой и почти что самоубийством, но будем надеяться, что за риск и смелость есть удача и награда.

Мы в полном здравии не берем пока термин "символизм" в надежде найти для нашего направления и знамени его - более точный - может быть "образисты", ну, может быть, "метафористы" (у, поэты, и здесь они наследили, отпадает, что ли?), а может "сообразисты" или "вообразисты", что, впрочем, станет ясно из последующего нашего роста.

Суть наша: движение в образе или победа образа верностью, рабскостью в нем, любовью в нем, благодарностью в нем (и ему -

благодарностью детскости, шалости в игре - в нем - но это позже, позже, позже...)

Широкое применение терминов "декаденты" и "символисты" почти полностью вбирает в себя эстетические и этические новации современного питерского, уральского, якутского и где он есть еще - рока, но мы пока воздержимся прицеплять его к себе...

В нашем движении к источнику будет, разумеется, много скачков, 1910/20 гг. - это, может быть, одна из первых стоянок, конечная же цель, скорее всего - горний Иерусалим, но она в будущем, сейчас же возможны только полеты, касания, корректировки, зацепки... Не имение, но название...

Начинать надо не с постепенного приближения к более и более запретному все эти годы, а с самого, что ни на есть устрашающего именем своим одним... Именно таковыми являлись "злейший враг советской власти" Дмитрий сергеевич Мережковский и "ярый враг" все той же советской власти Зинаида Николаевна Гиппиус, и, значит, с публикации полных собраний сочинений со всеми письмами этих последних (огоньковское издание романов Д.С. в счет не идет), то бишь Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича Мережковского, следует начать, если вы хотите разобраться в существе происходящего дела, потому что нахождение золотой середины происходит не методом постепенного приближения к ней, а методом перелета через нее и возвращения назад, впрочем я не думаю, что Гиппиус и Мережковский станут перелетом, но, скорее всего как раз серединой, а перелетом будут еще какие-то, более запрещенные к изданию авторы, которых надо обнаружить и обнаружить.

## МОЛИТВОЙ ЖЕ НАШЕЙ ДА ПУСТЬ БУДЕТ: ЖИВЫ ЖИВЫЕ

(Впрочем, не знаю, может быть имя Брюсова не стоит забывать или обходить, может быть стоит он, Брюсов, убеления, обеления, может быть он просто боялся быть смешным, во всяком случае вступление в коммунистическую партию Брюсова гораздо меньший, наверное, грех, чем отдавание имени Иисуса Христа в газету "Знамя труда" на флаг уличных проходящих - в белом венчике из роз.)

Круто, конечно же, я раздухарился, но не пройдет мне это без того, чтобы не поминать "гласность" и "перестройку", впрочем, это как живые на душу положат...

Друзья! Мы будем ехать, ехать, пахать, пахать, пока, может быть это будет 12-13-15 лет - пока мы не станем "Зоопарком" или

рок-клубом, то есть пока мы не выгородимся, не будем совсем особым кораблем-командой, я еще не знаю, как мы будем называться, символистами, образистами, шизоистами - может быть ваваистами вместо дадаистов; на всякую победу общественного сознания нужен срок (у символистов русских 7-10 лет), от смеха в начале и пародий, не исключено даже, что со стороны наших духовных отцов, - мы должны стать вне закона, вне смеха, мы должны стать разрешенными, официальными, издаваемыми, пишущими, что нам приходит в голову и так как нам приходит в голову. Одни наши имена должны стать символами, как у Пикассо и Дали, не только бытовой, но и мистической свободы. Мы должны победить все цензуры во имя свободы, во имя "жизни на земле", во имя животворения на земле, чтобы одни наши имена были цирком, царством не от мира сего...

Вот, может быть мы будем б р е д а с т а м и, начнем со слов, начертанных на моем, и, надеюсь, на нашем знамени БРЕД ПОБЕЖДАЕТСЯ БРЕДОМ, это наше главное убеждение - как смерть смертью и кол колом. Нет, мы все-таки наверное - символисты, не скомпроментировано это слово, имя, знамя, школа, а если скомпроментирована и дискредитирована - мы снова убелим и завоюем кредит этому направлению, школе в банке человечества, может быть другого выхода нет, может быть нужно просто увидеть, что другого нет, потому что нет более близкой к мистовой и теургической школе, а это - то, что нам нужно... Давай пойдем не во имя новое, а во имя старое, прошлое, бывшее, как Сим и Иафет, и набросим свои одежды, пятясь задом, на тело может быть пьяного или непроспавшегося символизма: только в этом наше благословение, а благословение - это все. А Хам станет плакать, и дети его будут поминать его хамское поведение, недогадливость и несообразительность в ситуации, и все разрешается: назвав себя символистами, мы сможем открыть и свой, символистский! театр, и пусть не суются к нам ни символисты, ни мисты, мы оградим себя, защитим, чтобы все запомнили - символизм - что-то особое, особая культура, особый стиль, и слово это вбирает в себя и хиппи-поведение, и панк-поведение, и рок-поведение. Все. Искусство. Саду нужна ограда. Прочь, непосвященные!

*Так восстановим ограду,  
чтобы не жалил нас змей.*

*Я вас зову не вперед, а назад.*

*Но это не в зад, а в перед.*

*В ад*

*надо верить.*



## Я СТАЛ ВЕТРОМ

За символическое искусство

и за покорность ему народов!

Мы без отцов, ребята, я понял, мы без отцов! Это жуть, конечно, но мы без отцов. Нет у нас отцов, нет писателей сейчас в России, наших отцов, нет поэтов. Разве Вознесенский нам отец, или, может быть, Евтушенко? Все они проданы и преданы. И ни Окуджава, ни Володин, ни Тарковский, ни Любимов к 80-м годам не пришли с молоком для нас. Мы без отцов, мы без отцов, и это жуть. Мы вынуждены жить здесь детдомом, лагерем детей, которые не хотят оказаться к финишу своей жизни и по отношению к своим детям в положении новых Окуджав и Чухонцевых, бодрячков-интеллигентов или печальных ревнителей дела защиты животных... Жуть, жуть, никто здесь как строитель дома или стен не оказался состоятельным, нет ни у кого стен, нет ни у кого убежища. Мы без отцов, ребята, мы без отцов, и вокруг либо псы, либо безмазные трупы якобы добрых людей... но берегись, потому что они все слабы и предатели. Не зная, как здесь стоять, повторяют бесовские, псовские штучки, и все уже давно поставили на себе крест - ради нас? - но ради нас хоть кто-то из них должен быть... а ни одного, ни одного!

## А ЕЩЕ ЗДЕСЬ СЫТЫЕ ЛОВИТЕЛИ ДУШ И ПРИСПОРТСМЕНЕННЫЕ ЖИРНЫЕ МЯСА

Вы посмотрите на них, ведь они надеются на нас, надеются, что мы их оживим, укрепим, вольем в них свою кровь, свою силу. Но при этом они такие трупы, их так! надо трясти и гонять палкой, что руки опускаются и появляется желание оставить их умирать. Но ведь они цепляются за жизнь, гады, за нашу жизнь, и хотят тусовать свою мертвую энергию и мертвые формы ее распродажи с лотков, за места, у которых они держатся силой зубов. Они надеются все залить этой своей вонючей мертвой энергией, растворить в ней все живое, всех сделать мертвыми и бессильными, как они. Нет, от них надо отделяться, отделяться, пока есть хоть капля жизни в крови, отделяться, отделяться, и хищно рычать на них страшнее, чтобы им духу не было к нам соваться, хоть с чем-то, хоть с помощью их, хоть с дарами их, хоть со слезами их... Нет, никогда, никогда не оживут Рефаимы... герметизировать, герметизировать свою отдельность, отделенность от них. Нет отцов, нет, и мы это знаем.

## ХОЧЕТСЯ В ТАНК НА ПОЛНОМ ХОДУ И СПАТЬ -

1 р. 40 коп.

/Антоний КАНЦЕЛЬСОН/

Поможем Горбачеву! Как мы можем помочь Горбачеву? Нет, не участием в перестройке, а наоборот, неучастием в ней. Именно не участием, отказом от принятия существующего ныне положения вещей. И форм этих последних. И качества, и материала. Да.

### МЫ - АБСОЛЮТИСТЫ. НАС НЕ УСТРАИВАЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Сейчас, здесь, в Советском Союзе я вижу три типа людей:

- первые, которые все эти годы были в системе государства и ели говно, которое...
- вторые, которые за эти годы смогли выйти из системы государства в дворники, сторожа, сумасшедшие, инвалиды, и тем самым перестали есть говно;
- третьи, молодые люди, которые на пороге входа в систему государства и угрозу есть говно.

Те, что ели все эти годы говно, ныне захотели есть его лучше, вприкуску, думая, что другого выхода, кроме как есть говно, нет, есть говно - это судьба, и даже наоборот, если ты не решишься есть говно, то ты отстанешь навечно от поезда, тебя навечно забудут и все.

Но что же произошло? Произошло то, что поезд остановился, вернее его остановили не побоявшиеся от него отстать, те, что отказались есть говно и почувствовали себя нехорошо и врубались не есть его.

Далее: поезд остановился и остановилась прекрасная бездумность едения говна; и остававшиеся все эти годы в поезде почувствовали, что они не имеют достоинства из-за того, что все эти годы ели говно и не нашли в себе достоинства отказаться его есть, и что достоинство имеют только те, кто говна не ел и т.п...

Что же еще начало происходить? Те, кто не ест говна, нашли какие-то формы жизни среди тех, кто ест говно, формы эти оказались чистыми: то есть от них не потребовалось вообще доказывать, что говно им чуждо в принципе, продаваться вообще лишенным говна и т.п...

...Они лстили народу, они говорили народу: давай, давай, ты хорош, ты красив, а это коварство, это нечестно. Они были коварны

к народу. Как сказал Володин: Дульсинею испортили; а просто опустошили, купили, напоили допьяна и заставили оголиться, очистили карманы...

А тот, кто любил народ, говорил ему, что он подл, недобр, ничто. И это его хранило.

То, что художники теперь стали зарабатывать портретами по 100-200 рублей в день, объясняется тем, что манежимые художниками зрители недоплатили в свое время Лентулову и Филонову: банк художников единый, это надо вам, зрители, знать, как и поэтов, и писателей, и танцоров, и музыкантов - вам, слушатели и читатели, - и монахов - вам, больные и ошибающиеся - и священников, так что задолженности взыскиваются в третьем и в двадцатом и тысячном поколении. **РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ РАБОТАЕТ КРУТО.**

А сколько подданные задолжали Александру Первому за его труды на дипломатическом поприще в Европе начала 19-го века? - тоже подсчитано, и неблагодарные, уклоняющиеся от выплат, уже преследуются!

- да и другим, нашим и не нашим - царям - долги должников за их труды считаются, так что берегитесь оказаться в долговой яме, бегучие от плат, не выйдете оттуда, пока не заплатите все, до последнего кодранта;

- ну и дворянам, дворянству, долги считаются... Горе, горе должникам, бегущим от платы и даже не просящим об отсрочке. Но и просьбы об отсрочке почти уже не доходят. Долговая яма! долговая яма! - б е р е г и т е с ь. Долги надо платить - это сурово, это круто, но это справедливо.

- Я козел отпущения (на меня - все), ребята, я козел отпущения, ребята. Украшенный цветами, и тряпочками, и ниточками - козел отпущения... да... да...

- антиистинносионизмсимитизм был атеизм и есть колхоз суть сосу ее и сионизм есть бу ку ре и кереку.

- все-таки нет более точного образа человека, чем у Бонюэля, когда его, человека, ведут два мента под руки, а он плюется, давит блох, мух и жуков, и живет, живет, влюбляется, чувствует, вспоминает, дергается, а менты не живут, разве что только через него, через того, кого они ведут. Вот почему нехорошо, невыгодно быть ментом, товарищи менты! Вас, конечно, тоже кто-то ведет, бандиты, министры, так я понимаю, но все же лучше уж самому дать себя вести или волочь, чем кого-то вести или сволочить...

Культура. Культура. Культура - это человек. Один человек. Одного достаточно. Достоевский - это культура. Есть Достоевский и есть культура, - нет Достоевского, и нет культуры. Или Сэлинджер или Генрих Бель, или Рильке Райнер Мария... И культура - это передача. Нет передачи, нет, некому передать - ждем, пауза, - нет культуры. Есть только ее воспоминание, а воспоминание - не культура, культура - живое действие, живой человек, который прорвался, слышен, ввинчивает культуру.

МЫ ИХ ОТБРОСЫ ОНИ НАШИ МЫ ИХ ОТБРОСЫ  
ОНИ НАШИ  
МЫ ИХ ОТБРОСЫ ОНИ НАШИ МЫ ИХ ОТБРОСЫ  
ОНИ НАШИ  
МЫ ИХ ОТБРОСЫ ОНИ НАШИ МЫ ИХ ОТБРОСЫ  
ОНИ НАШИ

МЫ ИМ НЕ В КАЙФ ОНИ НАШИ МЫ ИМ НЕ В  
КАЙФ ОНИ НАШИ  
МЫ ИМ НЕ В КАЙФ ОНИ НАШИ МЫ ИМ НЕ В  
КАЙФ ОНИ НАШИ  
МЫ ИМ НЕ В КАЙФ ОНИ НАШИ МЫ ИМ НЕ В  
КАЙФ ОНИ НАШИ

ОНИ НАШИ ОНИ НАШИ ОНИ НАШИ ОНИ НА-  
ШИ  
ОНИ НАШИ ОНИ НАШИ ОНИ НАШИ ОНИ НА-  
ШИ  
ОНИ НАШИ ОНИ НАШИ ОНИ НАШИ ОНИ НА-  
ШИ

- мы же не будем драться, мы пойдем в кабак.

- мы предлагаем вам модерн. Это не кот в мешке. Загляните хотя бы в ресторан гостиницы "Европейская". Это не плохо, можно сказать даже - хорошо. Посмотрите на дома начала века. Это тоже не плохо. Можно сказать даже - хорошо.

- им, тем, кто ел говно, не хватало веры, или силы, что может быть одно и то же, или избранности, что, наконец, точно одно и то же, они забыли: мир может быть изменен, он может быть не таким, какой он есть, вернее уже был, всегда был не таким, какой он есть, и везде, надеюсь, часто бывает - поэтому им и надо ознакомиться с всрой, и силой, и избранностью, не принимать, отрицать ту реальность, в которой надо есть говно, чтобы жить.

*Только наше. Только наше. Только наше.  
И там с нами нет  
никого, кого мы не знаем. Только наше. И не надо имен.  
Не надо. Не надо. Я не хочу. Не хочу. Не надо  
имен. Я не хочу. Не хочу.  
Не надо имен. Не надо.  
Не надо. Только наше. Только  
наше. Наше. Наше.  
Наше.  
Не надо. Только наше. Только наше.  
Мы умеем. Мы умеем. Мы делаем.  
Мы хотим, поэтому мы  
умеем. Мы хотим. Только наше. Мы хотим.  
Только наше.  
И там нет никого. Никого. Никого. Мы хотим.  
Мы делаем.  
Только наше. Только наше. Только наше. Только наше.  
Только... Только...*

Мы научились прятаться. Прятаться. Прятаться. Быть незаметными, еле видимыми. Совсем невидимыми. Совсем. Отсутствующими, не участвующими. Мы научились прятаться. Прятаться. Прятаться. Прятаться от них, которые тоже прячутся, прячутся от нас. Это игра, игра. Игра в прятки. Их и нас. Кто лучше спрячется? они или мы? Мы победим. Мы спрячемся лучше. Они нас не увидят. Они нас не найдут. Они нас не увидят. Мы победим. Они нас не заметят. Они нас не поймут. Не увидят наше участие. Часть и честь. Мы победим. Они нас не увидят. Мы спрятались. Спрятались. Мы спрячемся лучше, чем они. Мы можем совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно (спрятаться?).

"Я не верю в хорошего человека", - который раз я уже говорю одному хорошему человеку, который ищет здесь тесные врата, чтобы идти узким путем. Не верю, потому что, пока он хороший, пока он не стал плохим, пока он еще не жил, не живет, как плохой, еще не испытан, не бит - не совершен, не совершился, и может быть даже еще не начал совершаться. Начало совершения себя как человека здесь это стать плохим в глазах окружающих (и в своих тоже). Покаяние, пересмотр себя. А начало: жить плохим, быть плохим, выжить, будучи плохим в своих глазах и в чужих, в своем суде и в суде стороннем. Выжить - победить.

- они нас изучают молодежь психиатрируют молодежь говорят умно между собой о нас молодежь делают схемы они они

так с пример пример схема схема примитив примитив бред бред  
они нас изучают молодежь они нас изучают молодежь они пи-  
шут о нас диссертации молодежь

Они, в голубых рубашках и красных узких кожаных галстуках - голубосерых костюмах на двух пуговицах (рубашки блестяще выглажены) с широкими фалдами, а может быть узкими (фалдами). Они говорят, что они - приличное общество. Но говорят они неприлично. Они говорят, что у нас нездоровый крен. Молодежь. Они говорят, что мы - продукт среды. Они хотят, чтобы мы не курили, они хотят, чтобы мы не пили вино и пиво, не варили шняги и хани, они многого хотят... Лечат наши вены. Лечат наши веры. Наивные! Наивные! Они - продукты своей среды. У них нездоровый крен. Нам надо лечить их души!

**МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НАДЕЖЕН ДЛЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ  
ПО ДЕЛУ СОВЕРШЕНСТВА СВОБОДЫ И ВОЛИ ТОЛЬКО В  
ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ОН ОТСТРАНИЛ ОТ ДЕЛА СВОИХ ДРУ-  
ЗЕЙ СВОЕГО ОТЦА.**

Сила есть сила, и она там, где живут по силе: у преступников и проституток. Иисус соприкоснулся и соприкасался с силой, когда соприкоснулся и соприкасался с женщиной, которую он простил, взятую в прелюбодеянии, которую он отстоял, чем и получил от нее ход силы; и когда он висел на кресте рядом с разбойниками, то от правого, когда тот попросил помянуть его в царстве небесном, ответив ему, что ты тут же будешь со мной в раю - тоже получил ход силы, потому что сила откликается на силу, на образ жизни силы, только на силу. И без соприкосновения с миром силы, миром не трусов, норных и гнездных, а миром живущих открыто на улице проституток и преступников - нет соприкосновения завета с силой.

Россия, может быть, единственная страна из просвещенных светом христианства, которая никогда не была демократической, то есть плоскостной, нулевой, она всегда была абсолютисткой, то есть пирамидальной, конусообразной, и в этом секрет ее силы и непобедимости: не была демократической и не была демонической, демонизированной, бесовской, несмотря на все старания бесов. И в этом гарантия перестройки, то есть революции с вершины конуса, со стороны, от адреса одного человека - в этом радость и кайф. Неважность середины - самого противного, что есть на земле, и важность вершины и основания.

Ваш праздник не идет, потому что кое-кого вы на ваш праздник не пригласили.

Я защищаю и права колдунов. Права колдунов. Права колдунов. Я защищаю. Я. Саша Попов. Я сказал. Я, Я.

И права террористов. И наркоманов. Я. Я. Саша Попов.

И права сумасшедших. Всех. Всех.

И права ведьм. Всех ведьм. Я защищаю. Ведьмы - тоже девочки и тоже женщины, и тоже младенцы, а колдуны тоже мужчины, и тоже мальчики, и тоже младенцы и старики, старики...

И всех жаб. И комаров. И змей. И тараканов. Права я защищаю. И божьих коровок. И летающих тарелок и гуманоидов, и снежного человека. И Нэнси. И Нетти. Права я защищаю. Право на счастье. На свободу. На свободную волю, на самоубийство, на выбор смерти вместо неволи, хоть и не осознанный, спонтанный, интуитивный, но личный, целый.

Вы, общество, знайте, что саморазрушение, курение, наркотение, блядство - есть протест права против несправедливого вашего отношения к кому-то... Ищите! Ищите!

Нам нужен потешный журнал, потому что армия, которая разбивает шведов и турок, начинается с потешных полков, и выход к морю и морям, и флот будет.

Нам нужны потешные тексты, а текст, только что прочитанный вами - это текст потешный и всешутейный, для того, чтобы потом сыграть в эти темы всерьез и вправду.

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Редакция не в состоянии, разумеется, разделять взгляды городского сумасшедшего, хотя многие дамы из редакции с удовольствием делят с ним ложе и, как замечают психиатры, среди болезненных ассоциаций шизофреника попадают редко поэтичные и точные.

## ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ ИЗ "УЕДИНЕННОГО"

Все социал-демократические теории сводятся к тезису: "хочется мне кушать." Что же: тезис-то прав. Против него "сам Господь Бог ничего не скажет". "Кто дал мне желудок - обязан дать и пищу." Космология.

· Да. Но мечтатель отходит в сторону, потому что даже больше, чем пищу, - он любит мечту свою. А в революции - ничего для мечты. И вот, может, лишь от того, что в ней - ничего для мечты, она не удастся. "Битой посуды будет много"; но "нового здания не выстроиться." Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте, строил Микель-Анжело, Леонардо да-Винчи, но революция всем им покажет прозаический кукиш и задушит еще во младенчестве, лет 11-13, когда у них вдруг окажется "свое на душе". - "А, вы гордецы, не хотите с нами смешиваться, делиться, откровенничать... Имеете какую-то свою душу, не общую душу... Коллектив, давший жизнь родителям и вам, - ибо без коллектива они и вы подошли бы с голоду - теперь берет свое назад. Умрите."

И "новое здание" с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении.\*

---

\* В этом отрывке из Розанова нам видится не только пророчество, но и предостережение.



Отдел Прозы - Надежда Кеворкова  
Отдел Поэзии - Сергей Ташевский  
Гуманитарный отдел - Андрей Полонский  
Ответственный секретарь - Максим Шевченко

Москва, 101000, Чистопрудный бульвар,  
д. 12, корп. 2, кв. 87

В номере использована графика  
художницы Ирины Смирновой

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ “ТВЕРДОГО ЗНАКА“:

ПРОЗА            А. И. Фелистака

СТИХИ            Сергея Ерышева  
                      Максима Шевченко  
                      Алексея Сосны  
                      Игоря Схоля

СТАТЬЯ          Андрея Полонского  
                      “Вольность: бунт бессмысленный  
                      и беспощадный“

И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Цена ~~5 руб.~~ 6-25